

84(2р-чк-чр)6

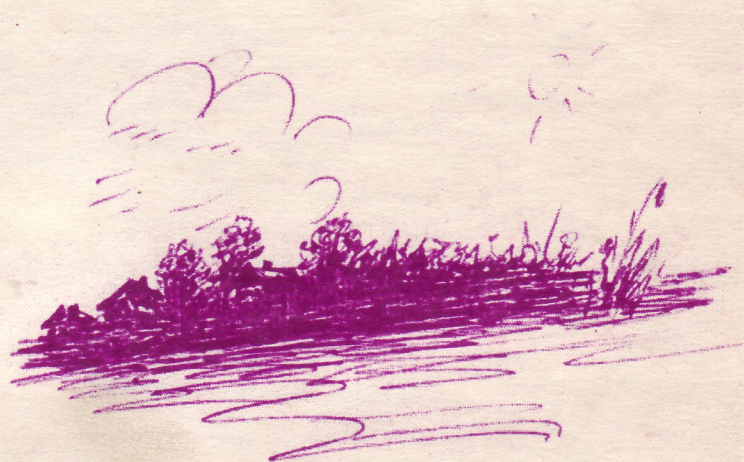
Д36

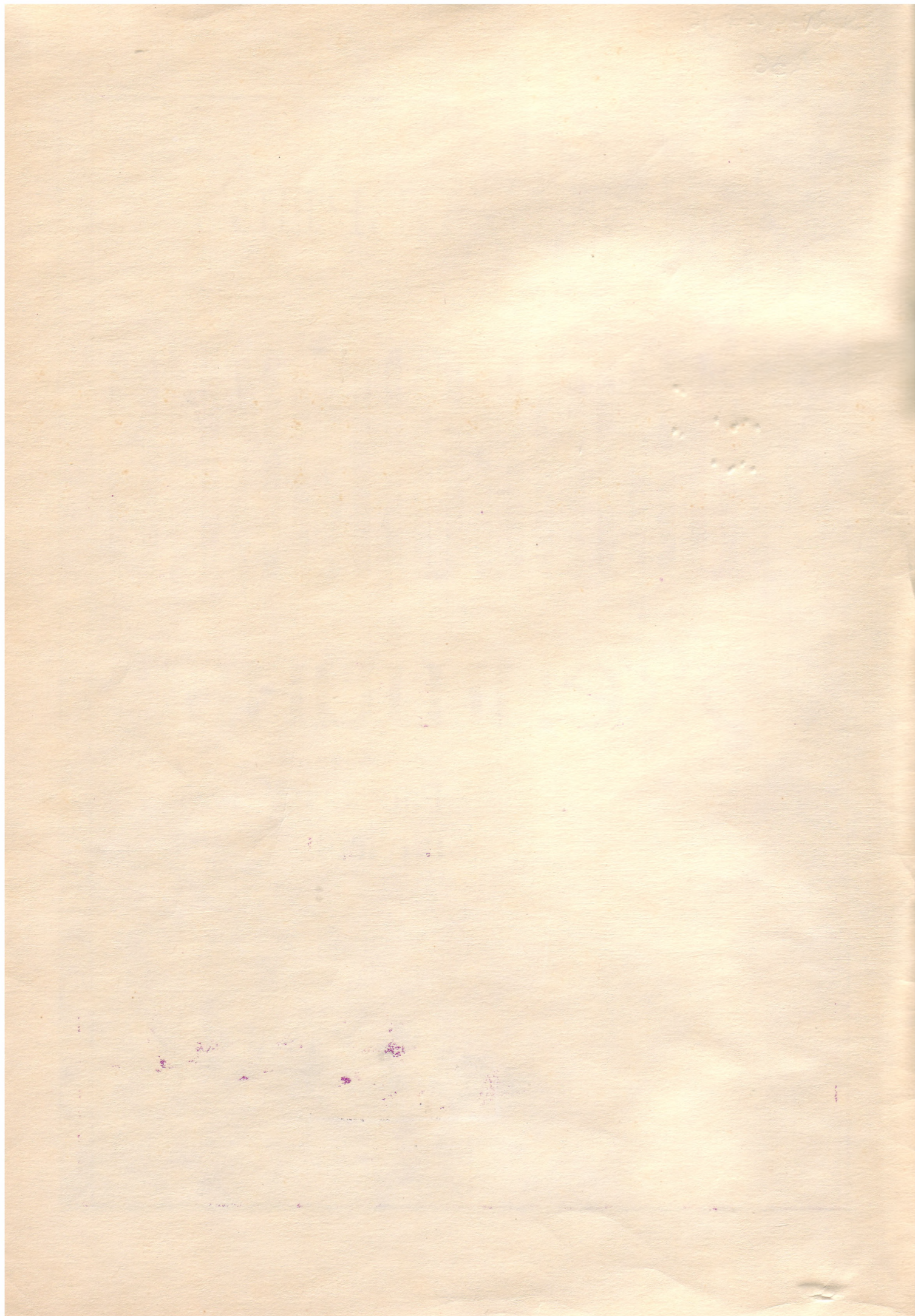
Михаил

ДЕРБЕНЕВ

Деревенские женщины

Рассказы
и очерк





84(28-чкчр)6

Д 36

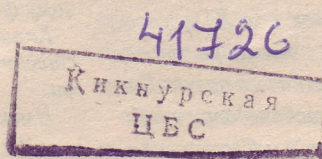
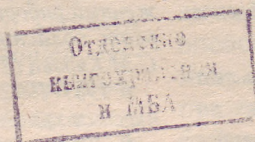
Михаил ДЕРБЕНЕВ

Матери моей, Хионии Андриановне Дербено-
вой, великой труженице,
без мужа поставившей
на ноги четверых детей,
с любовью и печалью посвящаю.

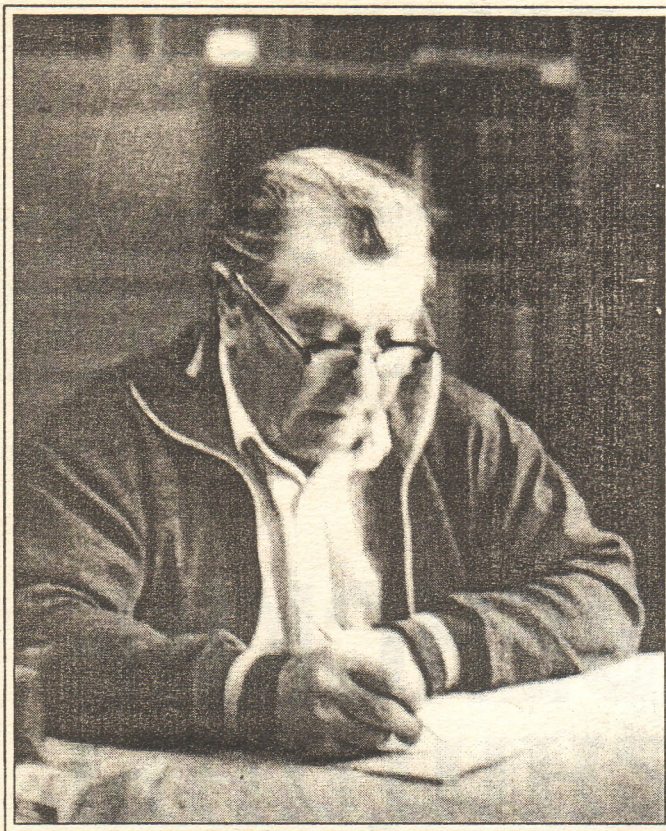
Автор.

ДЕРЕВЕНСКИЕ ЖЕНЩИНЫ

Рассказы
и очерк



г. Яранск, 2000 год.



О себе

Родился 16 ноября 1926 года в деревне Крутовражье Кикнурского района Кировской области. Русский. Родители крестьяне.

С 13 лет работал в колхозе на лошади — пахал в поле сохой, ложил копны, косил рожь и яровое на конной жатке, отвозил на глубинку и в Шахунью артельное зерно в счет хлебопоставок.

Шла война. Мы, подростки, наши матери и женщины-солдатки заменили ушедших на фронт мужчин.

Осенью 1943 года, в неполных семнадцать лет призван в Советскую Армию и отправлен на дальний Восток. До начала боевых действий с Японией в августе 1945 года служил в Приморье, на границе с Манчжурией.

В боях участвовал в составе I-го Дальневосточного фронта в качестве командира стрелкового отделения 535-го стрелкового полка. Был сержантом. Наша часть освобождала северо-восточную Манчжурию (Китай) и Северную Ко-

рею. С боями освобождали от японцев корейские военно-морские порты Сейсин, Росин, Наджин, Юки и другие города.

Демобилизован в июне 1951 года с острова Сахалин (южный), где служил после войны в 12-ом авиаполку Дальней авиации мастером и механиком по авиавооружению. Здесь в 1949 году окончил вечернюю Дивизионную партшколу. В апреле 1950 г. принят в кандидаты, а через год в члены ВКП (б). Избирался секретарем комсомольской организации 2-й авиаэскадрильи.

После демобилизации из армии летом 1951 года работал заведующим Потняковским сельским клубом, с мая 1952 г. — инструктором сельхозотдела и заведующим общим отделом Кикнурского райкома партии, а также инструктором райкома по зоне Кикнурской МТС.

Избирался секретарем партбюро (1957 год) колхоза "Россия".

В октябре 1957 года переведен на работу ответственным секретарем редакции кикнурской райгазеты. Затем, после ликвидации Кикнурского района в ноябре 1959 года, работал в редакциях райгазет Санчурска и Яранска.

В апреле 1965 г. Кикнурский район был восстановлен, и меня пригласили заведовать отделом пропаганды и агитации райкома КПСС.

С января 1966 года и до выхода на пенсию летом 1987 года работал редактором кикнурской газеты "Сельские огни" (21 год и восемь месяцев). В 1975—1978 гг., всего за три года, при моем активном участии в Кикнуре построено типовое двухэтажное здание редакции и типографии в кирпичном исполнении, а также шесть квартир в брусковых домах.

Член Союза журналистов СССР-России. Заслуженный работник культуры России (1984 год), лауреат областной журналистской премии имени С.М.Кирова (1982 г.).

В 1987-1992 гг., будучи на пенсии, заведовал Кикнурским краеведческим музеем.

В 1962 г. окончил Санчурскую вечернюю школу рабочей молодежи, а в 1968 — Марийский педагогический институт им. Н.К.Крупской по литературному факультету.

Капитан в отставке. Награжден орденом Отечественной войны II степени и пятнадцатью медалями.

Имею троих взрослых детей и пятерых внуков.

Апрель 2000.

Возвращение

I.

Перрон Владивостокского железнодорожного вокзала гудел как потревоженный улей. К первой его платформе маленький маневровый паровозик только что подогнал длинный и пестрый состав поезда с разношерстными вагонами: тут были и товарные, и пассажирские, судя по тому, кому они предназначались для посадки.

Поезд назывался почему-то Пятьсот-веселым. Появились такие составы в годы войны, когда пассажирские вагоны в большинстве своем, особенно с пригородных и местных линий, были переоборудованы под госпитали для раненых. В таких поездах следовала в различных направлениях самая разношерстная публика, не привыкшая к элементарным удобствам передвижения. В теплых, то есть товарных вагонах Пятьсот-веселого, оборудованных двухъярусными деревянными нарами, перевозилась в те годы большей частью неорганизованная солдатня, пробирающаяся единым порядком по разным адресам, большей частью демобилизованные в запас.

Посадку еще не объявляли, и толпа занималась своими делами. Кто-то, приютившись в стороне, у стены здания вокзала, торопливо закусывал, кто-то курил; там и тут стояли по двое и по трое солдаты, о чем-то беседовали, размахивая руками.

В центре толпы рыжий курносый парень старательно растягивал меха хромки, стараясь выжать из гармошки задорные звуки сербьянки, призывно зовущие желающих выйти в круг. Охотников было не занимать, одна пара сменяла другую.

Вот выскочил в круг долговязый солдат в больших нечищенных кирзовых сапогах, сбил на затылок давно не стриженной головы новую пилотку, подмигнул собравшимся, дробью хлопнул ладонями по груди и по коленям и пошел, пошел выделять такие коленца, что, как говорится, ни в сказке сказать, ни пером описать. Пройдясь несколько раз по кругу, долговязый выкинул частушку:

*Мне не надо пуг-гороху,
А огну горошину.
Мне не надо много девок,
А огну хорошую.*

С криком "А ну, дайте и мне!" в круг выскочил маленький белобрысый сержант в аккуратной облегающей игре ног брезентовых сапожках, в авиаторской фуражке, из-под козырька которой искрились веселые прищуренные глаза. Стремясь не ударить в грязь лицом, показывая рукой, как он

обнимает девушку, сержант вступил в соревнование:

*Я свою Наталию
Обниму за талию.
А пониже — ни, ни, ни,
Даже Боже сохрани.*

Долговязый солдат наподдал еще:

*Эх, зять тещу
Заманил в рощу.
Трещит роща —
Не дает теща!*

Толпа, довольная частушкой, захохотала, с крыши вокзала сорвалась в испуге большая стая крупных птиц и моментально скрылась в необъятном синем небе. Отличный погожий день, прекрасное настроение оттого, что наконец-то ты едешь домой и сам черт теперь тебе не брат, требовали каким-либо образом излить душу, выразить самого себя, и многим хотелось под залихватскую мелодию хромки выйти в круг и показать, на что ты способен.

И совсем некстати вдоль по перрону раздалась знакомая еще с той поры, когда ехала братва чуть ли не пять лет назад на Дальний Восток, команда офицера, сопровождающего демобилизованных до Хабаровска:

— По вагонам!

И началась посадка. Митя Зверев, старший сержант авиации, точнее, авиационный технар, пробирался с закадычным дружкой Лешей Червяковым, тоже старшим сержантом, к своему товарному вагону под номером 10. Оба старшие сержанта были невысокого роста, кряжисты, оба темноволосы и курносы. Оба обуты в ладные, по ноге, хорошо начищенные кирзовые сапоги, на головах их красовались фуражки с голубым околышем и золотой кокардой. Юношескую талию опоясывали трофейные ремни японской кожи с медными начищенными до огненного блеска пряжками. Опытный сторонний взгляд мог бы безошибочно определить, что парни следят за собой и им не чужды признаки интеллигентности. Да и то сказать: Митя служил в последнее время механиком по авиавооружению, а Леша выполнял какие-то секретные обязанности в одном из отделов штаба авиационного полка.

Познакомились они через два года после войны, когда Митя, вернувшись из Северной Кореи на родную землю и окончив в Приамурье авиационную школу, прибыл для прохождения дальнейшей службы на остров Сахалин, на один из его военных аэродромов.

— Иди-ка сюда, сержант, — позвал Червяков

Митю, когда тот робко вошел в просторную казарму, у стен которой в два ряда стояли двухъярусные металлические кровати и, козырнув, остановился у дверей, возле столика дневального.

Митя подошел, представился:

— Сержант Зверев. Прибыл к вам, так сказать, для прохождения дальнейшей службы.

— Червяков Леша, тоже сержант, — сказал он, отступив на шаг в сторону. — Если устраивает вот эта плацкарта, можешь располагаться, — Леша показал на верхнюю с панцирной сеткой свободную койку. — Матрац и подушку набьешь соломой сам. А для начала расскажи, откуда будешь родом, где воевал, где служил.

Митя поведал, что он Кировский. «Вятский, что ли? — перебил Леша. — Ну, ну...» Воевал с японцами в Манчжурии и Корее, командовал стрелковым отделением. Окончил в местечке Бирма школу младших авиаспециалистов. И вот явился сюда.

— Является только черт во сне, а ты в наш доблестный непромокаемый бомбардировочный авиационный полк прибыл. Уяснил? Да ты не сердись, — сказал Леша, — я это так, для затравки. И еще запомни, бывшая пехота: где начинается авиация, там кончается порядок.

Митя рассмеялся:

— А чего мне сердиться? Я шутки и сам люблю.

Так началась их дружба. Леша тоже рассказал тогда, что родом он из Новосибирска, сирота, жил в детдоме. Среднюю школу до войны закончить не успел и по вечерам усиленно, с карандашом в руках, читал учебники, особенно по алгебре, химии и физике.

Прослужили они вместе в авиаполку три с половиной года. Вместе ходили в кино, вместе читали стихи Маяковского со сцены полкового клуба, вместе отмечали праздники и даже вместе ходили на рыбалку. И еще у них было одно общее увлечение — книги. Оба читали запоем, у обоих в тумбочках лежало по десятку приобретенных по случаю собственных книжек.

Митя и Леша без особого труда пробились к своему десятому: почему-то солдатня атаковала соседние вагоны, будто забыв, что свободные места есть и в других. Забравшись в вагон по маленькой навесной металлической лестнице, Леша закинул свой фибровый чемодан с вещмешком на верхние нары и позвал к себе Митю. Зверев последовал его примеру. Они расположились у маленького застекленного окна, какие бывают в телюжих вагонах грузоподъемностью восемнадцать тонн.

— До Хабаровска теперь нам полка обеспечена, — сказал Леша. Через минуту заметил: — Спать вроде еще рано. Не перекусить ли нам по случаю отбытия из славного города Владивостока? Что скажешь?

Митя предложение поддержал.

В голове эшелона паровоз дал гудок, вагон дернуло, и он тихо покатился по рельсам. На малой скорости они двигались, наверное, с полчаса, а потом остановились на последнем пути какого-то разъезда под яркой лампой путевого освещения и простояли по позднего вечера.

Сержанты раскрыли вещмешки, достали нехитрую солдатскую еду, которую в виде сухого пайка выдал им на дорогу старшина эскадрильи, — по штуке соленой рыбы-горбуши, паре банок мясной тушенки, по кирпичу хлеба и по полкило кускового сахара.

— А насчет этого как? — Леша щелкнул указательным пальцем по солдатской дюралевой фляжке, в которую доверху была налита запасливо купленная на дорогу водка.

— Возражения не имею, — сказал Митя.

Достав эмалированные кружки, парни налили по половине и дружно выпили. За разговором незаметно шло время. На улице уже стало смеркаться. И только когда над бухтой Золотой Рог заиграла зарница, паровоз, предупреждая об отправке эшелона, дал длинный гудок.

В этот самый момент у дверей вагона появилась невысокая, одетая в серый костюм еще молодая с плоским лицом и невыразительными глазами женщина и попросила подвезти ее до станции Раздольная. Короткие волосы у нее были зачесаны назад, на голове красовалась голубая шелковая в мелкий белый цветочек косынка. У дверного проема вагона моментально появился долговязый солдат в нечищенных кирзовых сапогах, тот, что плясал и пел частушки на перроне, и, протянув женщине руку, сказал:

— Держись, уважаемая! Лесенка еще не убрана. А места у нас хватит, вагон большой. Если не боишься, конечно.

— А чего мне бояться? Реву, да к вам прошусь. Который день уехать не могу, все билетов нет. Солдаты, думаю, хорошие люди, — сказала женщина.

— Верно, мы люди неплохие. Причем все молодые и здоровые, к тому же неженатые, — засмеялся долговязый солдат.

Ловко подхваченную женщину проводил он к себе в закуток на нижних нарах и они стали о чем-то тихо разговаривать.

Под мерный стук вагонных колес Митя с Лешкой впервые за долгие годы уснули не в шумной солдатской казарме, а в движущемся на всех парах в западном направлении телюжем вагоне Пятисот-веселого поезда.

Митю разбудил Лешка.

— Проснись, засоня, — шептал он Звереву в ухо. — Посмотри-ка вниз, под нары. Что там делается! — толкнул он Митю.

— Пошел к черту! Я спать хочу.

В окошечко вагона брезжил туманный рассвет. Дверь вагона была приоткрыта. Лешка был настойчив и оторвал все-таки Митю от сладкого сна.

— Чего я там не видел? — ворчал тот. — Смотри сам, если охота.

Повинуясь настойчивости Лешки, Митя повернулся лицом к краю нар и свесил голову. В душном сумраке он ничего не разглядел, кроме разве что неясной темной массы в углу, как будто чуть шевелящейся. Слышалось сопение и какая-то возня.

— А пошел ты, Леха, к черту, ничего там не видно.

— Эх ты, балда! Смотри, смотри получше.

И тут Митя увидел, что из-под верхних нар вылез человек, надернул штаны и застегнул брючный ремень. Гимнастерки на нем не было. На смену вылезшему солдату юркнул на нижние нары следующий. Митя наконец-то все понял. Долговязый солдат заранее знал, что делал, зачем тащил в вагон застигнутую крайней нуждой женщину. У него возникло жгучее желание дать долговязому в морду за учиненное безобразие.

Леша Червяков, почувствовал, как Митя напрыгся всем телом, прижал его руками к себе и прошептал:

— Не дури! Один ты ничего тут не сделаешь, да и вдвоем мы не справимся. Знала баба, на что шла. Да беды особой не случится — натосковались все, слабаками стали.

Поезд, гуднув, остановился. Похоже, прибыл на какую-то станцию.

— Раздольная! — сказал кто-то.

Женщина, пятясь, на коленях вылезла из углового ей угла на нижних нарах, пошатываясь, встала на ноги и отряхнула колени.

— Поможем, ребята, выйти человеку, — сказал долговязый солдат. Он обнял женщину, крепко поцеловал в губы. — Спасибо тебе, Дуня, уважила. Если обидела братва, прости. Пять лет живой бабы в руках не держали. Не виноватые мы...

Несколько человек взяли женщину под руки и, пригнувшись к порогу, осторожно опустили ее из вагона на насыпь дороги. Почувствовав твердь под ногами, Дуня с минуту постояла, будто еще не веря, что вырвалась наконец-то из липких похотливых объятий солдатни, и тихо спустилась с насыпи на ближайшую тропинку. Ни разу не оглянувшись, она пошла через луга в город, может быть, к себе домой, еще не осознавая, что все обошлось не худшим образом.

В открытой двери вагона стоял долговязый солдат в грязных сапогах и печально смотрел вслед уходящей женщине, случайно подарившей ему несколько минут радости. Он совершенно не думал, что все произойдет с женщиной так, как произошло. Он договорился с Дуней о своем без

особого труда, она понимала, на что шла. После случившегося, когда долговязый солдат стал объяснять, как он натосковался, ему зажали крепкой ладонью рот и оттащили в сторону. И он был не в силах помешать другим терзать тело случайной попутчицы.

II.

Пятьсот-веселый на всех парах подходил к Хабаровску. Позади — первый отрезок пути к дому, к свободной от строя и надоевшей казарменной жизни. Отсюда, от Хабаровска, согласно выданным на руки билетам, они будут ехать дальше, кто-то до самой матушки-Москвы, кто и того дальше, в пассажирских вагонах дальнего следования, с персональной полкой для ночлега и с горячим чаем поутру. Про обед в ресторане они не думали, было не по карману, хотя служили они на Сахалине, в Дальней бомбардировочной авиации и платили им совсем неплохо. В последние годы, как перевели из мастеров в механики по авиавооружению, Митя послал матери в деревню несколько тысяч рублей. Она купила стельную телку, отремонтировала избенку, кое-что приобрела для ребятишек из одежки.

Дремавший про запас от ничегонеделанья Леша Червяков заворочался на жестких нарах, покашлял и спросил Митю, продолжая дневной разговор:

— Ну, так что, надумал? Я тебе еще раз предлагаю: оставайся в Новосибирске. Военные заводы в городе есть, на любой возмут тебя, оружейника, в сборочный цех с лапками: знай работай да не ленись. Угол снять я тебе помогу, устройю на жительство к какой-нибудь нестарой вдовушке, и будешь, как в сказке: жить-поживать да добра наживать, — пошутил Леша.

Долгими зимними вечерами, когда в казарме наступало затишье, они нередко беседовали в последнее время о дальнейшем своем житье-бытье на гражданке. Леша, коренной житель Новосибирска, настойчиво приглашал Митю поселиться в их городе после демобилизации.

— Ну подумай сам. Город все-таки не деревня, возможностей больше, — говаривал он Мите. — А то ведь приедешь, сдуру сразу женишься, ребятишек нарожаешь, и, считай, все пропало. Обложишь себя со всех сторон и никуда из деревни не вырвешься. Житуха там, думаю, не сахар, слышал от ребят, да и сам ты письма от матери показывал.

Митя хорошо знал, о трудностях мать писала, как нелегко было в войну да и после войны в деревне. Особенно тяжело приходилось одиноким женщинам, отправившим на фронт своих кормильцев — мужей да так и не дождавшимся их обратно и пестующим сейчас в одиночку малых

детишек. Он очень хорошо помнит одно из писем матери, которое получил в начале лета 1947 года. Мать писала, что приехал весной в деревню уполномоченный из райцентра, облазил все подполья у баб, описал оставленную на семена картошку и велел ее сдать на приемный пункт. На вопрос, как им, бабам, самим жить после этого, чем детей кормить, уполномоченный ничего не ответил. Только сердито посмотрел на них и укатил на тарантасе восвояси.

Картошку из подполий у всех тогда выгребли и увезли, кое у кого прихватили оставленное на фураж скотине зерно. Мать крепко горевала тогда, спрашивала у Мити совета: как быть? А что он мог сделать, чем помочь? Сходил он тогда к замполиту полка, дал ему то письмо почитать. Подполковник, посочувствовав сержанту, помог написать солдатскую жалобу в Москву — самому Николаю Швернику, Председателю Президиума Верховного Совета СССР. Ответа ждал из столицы Митя долго, но так и не дождался. Пришел он не из Москвы, а совсем из другого места, из Кикнура. Секретарь райисполкома Матвей Шадрин на восьмушке казенной бумаги со штемпелем в углу сообщил, что сбор семенного картофеля в деревне Крутовражье произведен на добровольных началах, на что имеется собственноручная подпись каждого главы семьи.

Тем дело и кончилось.

Мите очень не хотелось расставаться с Лешей. Относились они друг к другу по-братски, потому, как говорят, немало съели каши из одного солдатского котелка. Доверяли самые сокровенные мысли, вместе читали девичьи письма. И домой хотелось обоим так, что трудно было выразить словами. Ведь это только просто сказать: не был человек в родной деревне без малого восемь лет, с осени 1943 года, а на дворе стояло лето пятьдесят первого.

Над предложением друга Митя задумывался не раз и мысленно соглашался с Алешей, однажды перед самым отъездом из части даже сказал ему: «Ладно, Алексей, считай, что уговорил».

Они как раз тогда собирали чемоданы, ждали только приказа по части. И на большом ящике из-под авиационных упоров, который он выпросил у помпотеха звена, Митя стал писать новосибирский адрес своего друга. Ящик был набит книгами и исписанными тетрадями — конспектами занятий вечерней дивизионной партшколы, которую сержант Митя Зверев закончил год назад. Книги и тетради он послал в Лешин город со станции, где они служили, где размещался аэродром их боевого авиаполка, малой скоростью.

Подать заявление в вечернюю партшколу Мите посоветовал опять же Леша.

— Иди учись, не раздумывай, — сказал он. —

Тебе это может пригодиться. Повторишь историю, географию, много нового узнаешь. Тебя как секретаря комсомольской организации эскадрильи непременно примут. А у меня, думаю, другой путь: расшибусь, но поступлю в технический институт, стану инженером.

Поезд, дернувшись, остановился на каком-то безлюдном разъезде.

— Хабаровск, видно, не принимает, — сказал Леша. — Похоже, через час-другой переберемся в хорошие вагоны и двинемся дальше по-человечески: мягкая плацкарта, огромное окно — гляди сколько хочешь на матушку-Россию, столик под рукой... Красота!

— Слушай, Леха, а тебе хочется домой? — неожиданно спросил Митя.

— Что за вопрос! — удивился Червяков. — Домой только дурак не хочет, да и тот не каждый день может такое сообразить.

— А я вот сижу и думаю. Останусь я у тебя в городе, а там — пока устроюсь на работу, пока денег получу — сколько времени пройдет? Ты не сердись, Алексей, все-таки я сначала домой съезжу. Мать повидая, братишек... А потом и к тебе вернусь.

— А как быть с ящиком, полным книжек, который ты в мой адрес послал? — удивился Леша.

— Ты и получишь, если не поленишься. Уж не сочти за труд, — попросил Митя.

Леша был все-таки стоящий парень. Он согласно кивнул головой и сказал:

— Ладно. Как говорят: ради дружка не жаль последнюю сережку из ушка.

Поезд, кажется, тронулся дальше...

Мите вспомнились некоторые эпизоды из их совместной с Алешей жизни. В то лето Звереву дали отпуск при части и он на целых десять дней отправился жить в офицерскую маленькую квартиру штурмана первого экипажа, который уехал с семьей на Большую землю, в Россию на побывку к родителям.

Леша, узнав об этом, пришел к нему и предложил, не откладывая дела, пойти завтра на рыбалку, благо завтра было воскресенье.

— Горбуша идет на нерест. Редкий случай повидать исключительное зрелище, когда крупная рыба заходит в пресноводную горную речушку почти стеной. Идем? — спросил Алеша.

— Конечно, — согласился Митя. — Парень ты находчивый, что-нибудь да придумаешь. Собрался я было за все недосыпы добрать, да шут с ним, рыбки половить — святое дело. Когда-то еще удастся на горбушу в реке поглядеть. Только чем ловить-то будем, руками?

— Можно и руками, если хорошую палку найти. Оглушить одну — вверх брюхом, и баста, потом подбери только. Но у меня на этот случай сетчонка припасена. Главное — не проспать, — заметил Алеша.

Рано утом они были на речке километрах в пяти от казармы.

— А это еще зачем? — спросил Митя, увидев у Леша под мышкой большой противень.

— На месте увидишь, — ответил Червяков. В вязаной авоське он нес еще прихваченную сеть и кусок бересты.

Поймать несколько рыбин не составило труда. Алеша, поставив Митю в метре от берега на каменистом дне, велел прижимать держак край сети ко дну, а сам забрел со снастью в воду, сколько мог, и потянул по дну сеть к берегу. Нерест шел уже на спад, и рыба делу не мешала. Снасть зацепила добрых три горбушины, которых им вполне хватит на обед.

Леша тут же, на берегу, принялся собирать камни для очага и сухой валежник для костра. На камни он положил противень, развел огонь, почистил рыбу и сложил кусками на железный лист. Весь день они провели тогда на реке, под жареную горбушу приняли по паре стопок наполовину разбавленного водой теплого спирту и вернулись в полк вечером к самому отбою...

В Хабаровске они благополучно пересели в комфортабельный пассажирский вагон. На счастье, в билетах были указаны нижние полки и до самого большого сибирского города они ехали по-барски.

В Новосибирск прибыли часов в десять утра. Перрон вовсю жарило щедрое летнее солнце. Торговали морсом киоски, если ты при деньгах, можно было купить хороших папирос, выпить пива. Митя, подхватив фибровый чемодан, вышел из вагона проводить друга. Леша погрузился, да и Мите было невесело. Кто знает, встретятся ли они, как намерена судьба распорядиться их скромными персонами?

Они подошли к пивному киоску и взяли по кружке пенистого ядреного напитка. Выпили.

— Обнимемся, что ли? — предложил Алеша.

Они крепко, по-братски, обнялись, крепко пожали друг другу руки.

— Жду тебя, Митя, приезжай!

— Обязательно! Через месяц приеду.

Леша подхватил фибровый чемодан, бросил легкий вещмешок на плечо и скрылся в густой, куда-то спешащей толпе.

III.

Митю угнетала тишина. Вот он уже больше недели дома, а все ночи почти не спит. Тишина давила на мозги, звенела в ушах, гулко стучала в сердце. Деревенская тишина, как это ни странно, действовала ему на нервы. Он привык к шуму боя и даже во время артобстрела позиций противника мог запросто уснуть в окопе. Два с половиной года он командовал стрелковым отделением

в пехотном батальоне, водил бойцов вместе с ротой в атаку. Восемь человек — невелико войско, но молодая братва тихо сидеть не могла. В казарме авиаполка тишина устанавливалась лишь после отбоя ко сну и та относительная: кто-то тихо переговаривался с соседом, кто-то кашлял и чихал, кто-то искал под кроватью выпавшую из рук папиросу, припасенную для перекура на сон грядущий, когда уйдет к себе в закуток дежурный офицер.

А тут — глухая тишина, даже сверчок за печкой и тот сегодня почему-то молчит. До полночи Митя ворочался с боку на бок. В полночь начинают свою перекличку петухи. Митя тихо засыпает. И слышится ему в чутком сне, что петухи разговаривают по-человечески.

— Как будем жить-то? — с вятским ударением на "О" спрашивает тот, что принадлежит бедной соседке тетке Алене.

Другой, у которой хозяйка побогаче, тетки Аннин, успокаивает:

— А чего тужить-то!

Мол, лето не зима, кончится всякая кутерьма. Но Митя и во сне думает о том, что делать дальше, куда пойти работать. Не с вилами же идти навоз из хлебов выкидывать. До службы в армии, с лета 1941-го до осени 1943-го, два с лишним года, он, заменял ушедшего на фронт мужика, работал на лошади. Коней сейчас в деревне очень мало, и все они заняты. Когда-то ему приходилось жать жито серпом — сегодня хлеб убирают комбайны "Коммунар" и "Сталинец". Косить на лугах, правда, ему не доводилось. Как говорится, куда ни кинь, везде клин. Он умел командовать отделением, умел устанавливать и заряжать на пикирующих бомбардировщиках пушки и пулеметы, готовить и подвешивать бомбы. Он на глаз мог определить тип бомбового взрывателя, знал авиационные прицелы, систему бомбометания, скорострельность пушек и пулеметов. А вот трактор или комбайн водить не мог. Пойти на курсы механизаторов широкого профиля не лежала душа, к тому же для учебы нужны деньги на питание, на квартиру и прочие расходы. Профтехучилища в послевоенное время в Яранске еще не было.

Петухи умолкли, и Митя проснулся.

"Дурья голова, о чем я думаю? — спросил себя Митя. — Надо ехать к Алеше в Новосибирск — вот и весь сказ". Но снова и снова смущало одно: а что скажет мать? Она, старая, так ждала себе помощника! И вдруг... Братья ходили еще в подростках, какая на них надежда? Смущало и другое: нужны опять же паспорт и деньги на дорогу в неблизкий сибирский город.

И снова он вспомнил Алешу. Однажды, под самое утро он пришел откуда-то и разбудил Митю:

— Вставай поскорее да помоги мне деньги считать.

Митя опешил, увидев, как Червяков вынимал измятые купюры из карманов технической куртки и брюк, из-за пазухи — ото всюду, куда проникали его ловкие руки. Купюры были сотенные и полусотенные, темноватые червонцы, а также разномастные пятерки, трешники и рубли.

— Где это ты взял такую кучу денег? — спросил Митя.

— Где, где, — недовольно заворчал Леша. — Не украл же! Сам знаешь, банка в нашем поселке нет, сберкассы тоже... Да и деньги там в пачках, нематые. В карты выиграл, вот где взял, — сообщил он. — Дураков на наш век еще хватает.

— Где это вы сидите целыми ночами? — спросил Зверев. — Накроют вас, в дисциплинарный батальон загребите.

— Насчет того, где мы сидим, это, положим, военная тайна. Ляпнешь еще кому-нибудь... А в дисбат за это не посылают, парень. Так-то вот.

Леша долго еще что-то рассказывал и считал деньги и почти перед самой командой "Подъем!" залез под одеяло и уснул сном праведника.

"Где-то теперь Леша и где те его деньги? — подумал Митя. — Надо все-таки хлопотать об отъезде. Иначе как-то, с ума тут сойдешь".

Утром он рассказал матери о своих планах. Та внимательно посмотрела на него и концом ситцевого головного платка стала вытирать слезы.

— А мы-то тут как? Нам-то что делать, Митя?

Митя помолчал. Вытерев глаза, мать все же согласилась с сыном. Маленькая, щуплая, еще не совсем старая, но давно поседевшая женщина, она всегда вызывала у Мити сыновью жалость. Ведь это надо на таких вот хрупких плечах поднять после смерти отца четверых детей-несмышленишей.

— Пожалуй, ты прав, — сказала она. — Перебьемся мы тут как-нибудь. А тебе ведь жить надо, где-то работать. В деревне ты пропадешь. Сколько я спину гну, а в конце года пустые трудовни-палочки считаю. Поезжай, сынок. Денег у кого-нибудь попросим в деревне. Вот только с паспортом выйдет ли что? В сельсовете начальником сидит такой жук, прости господи, без бутылки не подойдешь.

"Ничего, как-нибудь обломаем его, — подумал Митя. — Авось не съест и бумагу даст".

В этот день он переколот все оставшиеся дрова, сложил их у сарая в поленницу, а после обеда сходил по грибы. Мать велела ему недельки две-три отдохнуть, но завтра он решил обязательно сходить в этот треклятый сельсовет и поговорить с разлюбезным председателем. А перед этим он непременно должен зайти к матери убитого товарища Егора Ягдарова и передать ей последний поклон сына. Егор погиб на маньчжурском Хинганском перевале, когда прикованный це-

пью в дзоте японский пулеметчик внезапно полоснул очередью по походной колонне полка. Раненый Ягдаров прожил совсем немного, только и успел передать привет родным. Сержант Зверев обещал тогда, если останется жив, сходить к матери в недалнюю деревню и рассказать ей все, как было, как умер от ран ее единственный сын.

Деревня Пижанчурга, где жила мать Егора Ягдарова, пласталась двумя рядами домов с запада на восток на добрых два километра. Кругом шумел лес. Добротно срубленные дома стояли густо, у многих под окнами росли яблони. Мать Егора, тетку Аксиныю, он еле нашел. Она оказалась в огороде возле бани и собирала в бурачок малину. Митя назвал себя и сказал, что он воевал вместе с Егором. Тетка Аксиныя громко заплакала и позвала его в дом:

— Хоть малинкой угощу тебя, сынок.

Была она маленькая, подвижная, нос пуговкой задиристо смотрел кверху. Чистое лицо ее портили искривленные плачем пухлые маленькие губы.

Через минуту-две женщина успокоилась и стала выспрашивать Митю, чей он и откуда. Он рассказал.

— Знаю твою матку, хорошо знаю. В церкви вместе бывали. Такая же одинокая, как и я.

Спохватившись, тетя Аксиныя захлопотала у стола:

— Ну-ка, малинки с молочком. Корова, слава Богу, своя. Тем и спасаемся. А то давно бы с голоду померли.

Тетка Аксиныя налила в глиняное блюдо молока, всыпала в него очищенной от сора малины, положила рядом ложку и остановилась против Мити:

— А вот хлебушка нету. Тот, что едим, боюсь показывать. Ай да что там, так и быть, посмотри — и она принесла из припечной комнатки кусок черной бесформенной массы, будто только что подобранную на пыльной дороге коровью лепешку.

— Что же это такое? — спросил Митя.

— Мы в деревне называем это хлебом, сказала тетка Аксиныя. — Только хлеба тут — чистой ячменной муки — лишь четвертая часть. Остальное — размолотые на жерновах головки клевера да стебли старого малинника. Такой хлеб без молока не проглотить, а если съешь — через час чувствуешь, как брюхо изнутри царапает.

Плохой хлеб, с добавкой вареной картошки, Митя едал, едал в войну хлеб с клеверным пыжом, но такого еще не видывал. Мать его хлебом тоже не балует, в первый день только испекла из чистой ржаной муки пресных калачей и угостила всю семью.

А тетка Акси́нья продолжала:

— Есть у нас семьи, которые живут почти на одной траве. Я на свиноферме работаю, так мне немного ячменя проросшего дают. Без муки жить никак нельзя, а мы вот еще живем. Скотине хоть немного, но посыпки дают, а людям — ничего. Прямо с поля хлеб увозят в магази́ю, властям... Да ты ешь малину-то. Хорошая ягода, сладкая. И спасибо тебе, Дми́трий, что зашел, утешил немного старуху.

И она снова заплакала.

— Сколько лет прошло, а все во сне своего Егорку вижу. Вот и сегодня ночью приснился. Прибежал будто ко мне, еще маленький, лет восьми, в колени головенкой ткнулся и говорит: "Тяжело мне, мама, пуще молись за меня". И пропал, будто его и не было. Ну, думаю, не иначе, как весть получу. А днем смотрю и вижу, ты ко мне идешь... Похоронку получила, неделю с постели не поднималась — без памяти долго была. Ведь он у меня единственный сынок!..

Митя засоби́рался домой. Тетка Акси́нья на прощание перекрестила его и сказала:

— Бог с тобой, Дми́трий. А матке скажи, что велела ей кланяться. Иди, батюшко, да не обижайся, что плохо угостила. Вот разживе́мся как-нибудь, тогда приходи. Да и с невестой, хоть погляжу я на вас да своего Егора вспомню.

В сельсовет после печальной встречи заходить не хотелось, но откладывать на завтра то, что определено на сегодня, Митя не мог.

Помещение под сельсовет отведено было в большом пятистенном деревянном доме у самой церкви, большую часть которого занимала сельская изба-читальня. Почти половину небольшой комнаты с надписью на двери "Председатель" занимал огромный двухтумбовый стол с круглыми фигурными ножками. Наверное, реквизи́ровали у попа, когда грабили церковь, подумал Митя. В полстены красовалась у председателя черная круглая, покрытая железом голландская печь, от которой, казалось, даже в этот июльский день струился накопленный жар.

Примечательной особенностью комнаты являлось то, что за столом, на обыкновенном красного дерева стуле, как на троне, восседала одетая в коричневый френч из грубого сукна массивная фигура с приставленной к ней круглой, будто шар, головой. Низко остриженная, с плоским, как блин, лицом голова эта тускло блестела. Лоснились волосы, блестело лицо, на котором под торчком стоящими белесыми бровями прятались в глазницах водянистые холодные глаза.

Уж не коровьим ли маслом он мазет голову? — подумал Митя. — Волосы понятно зачем, чтобы вихры не торчали, а лицо? Да и волосы короткие, — заметил Митя, — зачем мазать-то?

— А-а, вроде Зверев явился, Дми́трий Петро-вич? — деланно обрадовался председа́тель. — Сколько лет, сколько зим не виделись. Значит, в родные пенаты возвратился? Очень, очень приятно. Молодые парни нам во как нужны! Товарищ Сталин учит нас, темноту, что кадры решают все. Слыхал такое? То-то.

Председатель сделал паузу и указал на стул:

— Садись, коли пришел. По делу, небось? Ко мне без дела не ходят, — похвастался он. Маленькие белые руки его лежали на сверкающем от солнца стекле стола, и было заметно, как полные мягкие пальцы мелко дрожат. — Вчера, понимаешь ли, на именинах был, — перехватив Митин взгляд, сказал председа́тель. — И в голове до сих пор черти пляшут, — признался голова сельисполкома. — А ты сам-то как, Дми́трий, не зашибаешь? Помню отца твоего, Петра Алексе́евича. Не дурак был по этой части.

Митя отрицательно мотнул головой: мол, нет, не зашибаю.

— Ну и правильно, ну и молодец, — похвалил председа́тель. — Так какое дело-то у тебя? Поди, насчет работы? Это мы можем, — опять похвастался он. — Есть у меня должности́шка одна, будто специально для тебя предназна́чена. Книжки, знаю, ты любишь. Когда идешь ночью по деревне, песни тоже поешь... Не поешь? Ну, невелика беда, научишься. Не пыльная должность, правда, не очень и денежная. Так и все люди с малого начинают. Помолчав, председа́тель взял быка за рога:

— Заведовать избой-читальней пойдешь? С учителями будешь работать. Теперь у нас школа-семилетка, учителей много. К тому же почта, сельмаг, библиотека — везде люди. Спектакли будешь ставить, по деревням агитатором ходить. Понял? Должность, можно сказать, почетная.

— Я пока не за этим, Илья Ива́ныч, — тихо сказал Митя. — Паспорт бы мне...

— И паспорт помогу выправить. Вот поработаешь с полгодика, покажешь себя — и сделаем.

— Уехать я хочу, Илья Ива́нович.

— Как это уехать? Только приехал и уехать? Так не бывает, — твердо сказал председа́тель, и Митя понял, какую он дал промашку, когда прямо ляпнул, зачем пришел. Надо было сбегать в магазин за бутылкой и начать изда́лека. А теперь все пропало.

— Паспорт получить теперь не просто, — сказал председа́тель. — Деревня обезлюдела, и отпускать никого не велено. И потом, самое главное, стандартную справку на получение важного документа заверяет колхоз, а там ее ни за какие коврижки не выпросишь. В общем, отдохни малость и принимай читальню. Договорились?

— Нет, не договорились, — сказал Митя. — Я и без паспорта уеду, потому как я не крепостной

мужик, а свободный гражданин.

— Ишь ты! — сказал председатель. — Он, видишь, ли, свободный. А кто тебя освобождал от сельхозналога, мясопоставок, от сдачи яиц, шерсти и прочей кожовчины? Мы вчера как раз этот вопрос на исполкоме обсуждали и решили назначить тебя главой крестьянского хозяйства, хозяйном, значит. Вместо матери. Надо дать женщине передышку. А ты молодой, покрутишься.

Митя вышел из председательской комнатухи будто сам не свой. На дворе стояла жара, а его стало знобить. Как дошел он до деревни, как поднялся на крыльцо своего дома, не помнит.

Мать всполошилась:

— Что с тобой, Митя? Ведь на тебе лица нет. Где ты был так долго? Я уж забеспокоилась... Ну-ко я сейчас чаю с малинкой — и все как рукой снимет. Так что случилось-то?

Митя рассказал матери про свой разговор с председателем сельсовета. О том, как он предложил ему работу, а потом сказал о назначении главой хозяйства.

— Ну это еще не самое плохое, сынок, — успокаивала она.

— На-ко, выпей чайку, выпей, не ломайся.

Мать налила ему большую эмалированную кружку кипятку с заваренной малиной и сообщила новость:

— А тебе письмо. Возьми вот, почитай.

Письмо было от Леши, посланное чуть ли не вслед за Митей. Друг писал, что с работой все устраивается самым наилучшим образом. На военном заводе, куда их могут взять немедленно, есть общежитие. Демобилизованным воинам место в нем предоставляют в первую очередь.

Митя сидел за столом, крепко задумавшись. Мать хлопотала в комнатке у печи, что-то говорила, но он не слышал ее. Левая рука с письмом опустилась почти до самого пола.

Леша писал: "Приезжай немедленно, время не ждет".

Что ответить другу? Ехать или не ехать в Сибирь?

Ответа на этот вопрос после встречи с председателем сельсовета Митя не находил.

Август 1993 г.

Двухмужняя

*Николаю Петровичу Кислицину
с искренним уважением.
Автор*

I.

На последнем рубеже жизни все чаще и чаще вспоминаются юношеские годы, родная деревня Калиновка, ее люди. Селение по нашим местам небольшое, домов на шестьдесят. По самые крыши заносило Калиновку в зимнюю пору снегом. Будто кроты, вылезали из избенок после вьюжной ночи люди, брели в сарай по дрова истопить русскую печь да подтопок, приткнувшийся к ней из передней комнаты. Брели молодухи пару ведер да коромысло и, надернув на босую ногу подшитые валенки, чуть не по грудь увязая в снегу, торили к колодцу тропинку, черпали бадьей воду и, тихо вышагивая, чтобы не расплескать воду, несли наполненные ведра в студеную после ветреной ночи избу. Снежные зимы случались часто, и люди жили, будто медведи в берлогах.

В ближнее село с непонятным названием Потняк, что стояло в двух верстах от деревни, ходили зимой редко. Разве что иная богомольная бабуса соберется в воскресный день к обедне. Давалось это по бездорожью, через глубокие сугробы, непросто, и желающих собиралось в церковь немного.

Иной становилась деревня весной и особенно летом. Дороги и тропинки вытаивали, яблони, вишни, черемухи одевались, будто невесты, в белую кипень цветов, и наша старая деревня молодела, крестьянские избенки преображались. Будто воробы по весне вытаивали в каждой избе детишки, и те, что пошустрее, пробовали уже голой пяткой едва вытаявшую у завалинки голую черную землю еще без единого весеннего желтого подснежника: нельзя ли босиком побегать?

Издали, от большой дороги, от старого екатерининского тракта Калиновка представляла большим, заросшим тополями да березами островом, близ которого по широкому полю начинала зеленеть, куститься на солнце под осень посеянная у деревни озимь. Посередь деревни, у гати, через которую по водоспуску потоком неслась еще пеннистая вешняя вода, шустрая ребячья орава, сняв обутки, пробовала пальцами ног холодную воду: не пора ли окунуться?

Тихо, мирно протекала жизнь в деревне. А на дальнем западе уже погромыживала война. В колхозной конторе по вечерам, выставленный на подоконник, вещал московские новости купленный на артельные деньги батарейный радиоприемник. Мужики хмурились, когда передавали, что германский большой начальник Гитлер, задавшись целью захватить всю Европу, одну за другой подгребал под себя соседние державы:

Чехословакию, Польшу, Австрию, Венгрию, Бельгию и Голландию. Бомбил Англию. Не устояла перед стальной танковой громадой сама Франция.

Война приближалась к советским границам. Наши мужики, особенно те, кто побывал недавно на финской, уверенно пророчили: быть большой войне!

И верно. В одно воскресное солнечное утро лета 1941 года московское радио сообщило: немцы, вероломно нарушив подписанный двумя странами, Германией и СССР, Пакт о ненападении, огромной войсковой лавиной перешли западную границу от Белого до Черного моря и двинулись на восток, предавая огню и разорению все, что встречалось на их пути. Война не сулила ничего хорошего спокойной уравновешенной жизни, мирному крестьянскому труду.

И вот пришли в деревню первые повестки из военкомата, призывая мужиков, состоявших в списках запаса первой категории, на войну.

Наш рассказ следовало бы начать не с печальной ноты, а, наоборот, — с жизнеутверждающей. Но коли слово о войне сказано, то и начнем помалу знакомить с первыми героями нашего повествования. А война как раз и явилась главной причиной того, о чем сегодня пойдет речь...

В деревне нашей, в колхозе "Трудовик", было три бригады. Первая, во главе которой стояла бойкая, лет двадцати, солдатская женка Саня Журавлева, насчитывала в своем составе больше десятка домов и добрых две дюжины трудоспособных колхозников. От бригадирского наряда редко кто отлынивал, заработать трудовень стремился каждый. Особенно отличались старанием и настойчивостью девки и парни. Их в конце нашей деревни, в первой бригаде, которая северным торцом выходила к екатерининскому тракту, на пальцах было не сосчитать. Больше девченок, чем мальчишек. До сих пор помнятся ломавшие тогда колхозную работу Таисия Пелагеина (так называли ее по имени матери, потому что Таисья в деревне была не одна), Павлина Васильева (по отцу), Маня Володина (по отцу) и другие. Особой славой за свое трудолюбие и рабочую хватку пользовалась в молодежной среде Евгения Зверева — Енька Петрова (так звали ее по отцу). Некоторые смотрящие вперед матушки говаривали своим подрастающим женихам: "Вот бы такую девку тебе в невесты!"

И в самом деле, была Енька необыкновенная собой девушка. Невысокая ростом, белая лицом, с каштановыми кудряшками на лбу и носом-пуговкой, она привлекала внимание деревенской публики светлой улыбкой, озарявшей ее приятное круглое лицо лучезарным взглядом, устремленным навстречу приятному собеседнику. Одним словом, хорошая была девка, эта самая Ень-

ка, парни засматривались на нее, и не один из них не только в своей деревне, но и в соседних селениях готов был расположить ее к дружбе.

Росла Енька в обыкновенной крестьянской семье, многодетной и небогатой. Мать ее Анисья, худенькая, косматая, постоянно хлопотала по хозяйству, все торопилась накормить большую ораву ребятишек, к тому же поспеть на колхозную работу. Отец Енькин, дядя Петро, был не первой молодости, мужик как мужик, носил бороду и усы, слегка прихрамывал. Мог выполнить любую колхозную работу. Его почему-то, всем на удивление, постоянно преследовала тень нерасторопности. Запряжет, бывало, дядя Петро лошадь, тронется в путь, ан тут же, глядишь, развяжется супонь у хомута и почнет болтаться меж передних ног коняги, пока не ступит она на конец супони и не порвет его. Попробуй-ка потом связанным в узел тонким сыромятным ремнем соединить клещи у хомута! Повозишься. То запряг у него перекосится, потому как гужи у хомута окажутся невыровненными, то черессдельник развяжется. Приходится то и дело лошадь останавливать. А дело стоит.

Говорю так подробно об Енькином отце потому, что по возрасту он от войны был отставлен и многому нас, подростков, научил.

Правда, иногда происходили курьезные вещи. Как-то летом во время уборки яровых был я у него помощником в кладке копен из ячменных снопов. Помощников было двое, первый, подхвативший к копне с возом, двузубыми легкими вилами складывал снопы на копну, а второй подавал сноп мастеру поближе к его рукам. Ложить копну из короткостебельных снопов ячменя оказалось непросто. Надо было, начиная с внешнего круга, положить внахлест еще несколько рядов, пока не вырастет копна до нужных размеров. При этом снизу окружность копны устраивалась несколько меньше, кладка шла расширяющимся кверху конусом, а потом верх копны у нужной точки превращался в обратный плоский конус со скатом в стороны, чтобы после, закрыв копну ржаной соломой, получить аккуратную круглую крышу. Ячменные снопы — штука, к слову сказать, вредная. Они кололись, ость от ломающихся колосьев лезла в рот и в нос. А к тому же при укладке снопы разъезжались в стороны, и у дяди Петра получалась не крыша, а некая кривобокая фигура. На наши недоуменные взгляды он спокойно сказал: "Вы не удивляйтесь, ребенки. Я ведь копну-то еще не свершил, я только сбугрил ее. Вершить опосля буду".

Перед войной Енька расцвела как маков цвет. И где-то после пасхи заслал к ней сватов Костя Гурьянов, эмтээсовский тракторист. Парень видный, с шапкой темных кудрявых волос на голове, крючковатым, как у ястреба, носом и кусты

стыми бровями, из-под которых выглядывали пронзительные, ласкающие Еньку глаза.

Семья у Кости была небольшая. Отец Иван Иванович, человек при очках и полноватый, колхозный шорник, да мать Анюта, шустрая еще старушка, ухаживающая в артели за телятами. Жили они безбедно, отец имел пятистенный дом под тесовой крышей, во дворе мычали корова с теленком, блеяли овцы, хрюкал подсвинок, гуляли куры с петухом. Вторую половину избы Иван Иванович прочил сыну после его женитьбы.

— Пусть живут в малой избе молодые, — ска- зал он, похвалясь вновь приобретенным сватям. — А вырастет семья, дверь в стене прорубим: иг- рай, ребяташки!

Когда дело дошло до невесты, до ее согласия; Костина мать Анюта попросила:

— А покажите нам, люди добрые, невестуш- ку. Где она, пошто не покажется?

Енька, увидев в окно, кто к ним идет, поняла в чем дело и спряталась в боковую комнатушку. Нет, приход сватов не был для нее неожиданно- стью. С Костей они обо всем договорились не се- годня. Еще в прошлом году летом, в Петров день, они вместе возвращались из недалекого села Кло- чки с молодежного гулянья. Народу там было мно- го, и Енька, и Костя побывали у знакомых в го- стях, пообедали. А солнце на закат — гости по домам. На обратном пути, добравшись до Мака- ровки, они, обнявшись, всю ночь просидели под окном на лавочке нежилого уединенного дома, до самого рассвета разговаривали о всякой всячи- не. А потом Костя, взяв ее теплые руки в свои горячие, тихо сказал ей:

— Люблю я тебя, Женя. Очень люблю. И дав- но. Так что... — Костя, смутившись от непри- вычных слов, замолчал.

Молчала и Женя. Костя нежно взял девушку за плечи и повернул к себе лицом. Набравшись смелости, осторожно поцеловал в губы. Укло- няться Женя не стала. Ей и самой парень нра- вился, и в мыслях о будущем она думала о Косте.

— Что молчишь-то, Женя? Скажи что-нибудь! — молвил Костя. И наконец решившись, ска- зал: — Пойдешь за меня?

Женя замолчала, а потом, заплавав, приник- ла к парню и уронила голову ему на грудь.

Костя достал из кармана платок, осторожно вытер девушке слезы.

— Зачем плачешь-то? Разве я чем обидел тебя? — спросил Костя. — Если ты согласна, вместе жить будем. А ты...

— Не обижайся, Костя. Почему-то само по себе плачется, — сказала Женя. — Домой, поди, пора. Пойдем-ка.

Они встали со скамейки и не торопясь пошли по дорожке к небольшому лесу, за которым сто- яла их деревня Калиновка. Шли медленно, ра- дуясь погожему утру, поднимавшемуся над огром-

ным миром солнцу, щебету невидимых пичужек.

Когда кончился лес и они вышли к своему полю, Женя остановилась и сказала:

— Открою тебе, Костя, небольшой секрет. Ты только не сердись, ладно? Меня один парень не- давно просил выйти за него замуж. Только я на- отрез отказала ему. В душе у меня совсем другой человек. И уж сознаюсь — это ты.

— Выйти замуж просил? — удивился Костя. — Это кто же такой храбрый нашелся? Да я ему руки- ноги повывергиваю и вичи вставляю.

— Милый, драться не надо. Ведь я же с тобой буду, а не с ним. А парень он вообще-то непло- хой и найдет еще свою девушку. Это Вася Мака- ров. Знаешь такого? Только будь ласков, не оби- жай его.

Конечно же, Костя знал этого парня как об- лупленного. Он жил в их же Калиновке, всего через несколько домов от Гурьяновых. А вскоре они встретились. Встреча произошла в престоль- ный праздник Воздвижение, неподалеку от Пот- няковской церкви, когда молодежь собралась туда на гулянье. Костя улучил момент и, когда Вася направился к деревенской тропинке, взял в пра- вую руку припрятанный красный кирпич и уда- рил им парня по голове. Кирпич разломился пополам. Вася от неожиданности присел, но тут же, опомнившись, шустро задал стрекача.

— Еще раз подойдешь к Жене, убью! — крик- нул ему вслед Костя.

А сватья между тем обсуждали свои житейские дела. Тут, принарядившись, вышла на погляде- ные и невеста. Дядя Петро, выставив вперед ры- жую бороду, обратился к дочери:

— Вишь, какое тут дело. Сваты вот к нам при- шли, тебя захотели увидеть. А Костя вон спра- шивает: пойдешь ли за него?

Костя при этом опустил кудрявую голову.

Женя потупилась, долго молчала, потом тихо промолвила:

— Пойду, тятенька.

И тут же убежала в свою комнатушку.

Дядя Петро по такому случаю достал немного початую четверть синеватого первача-самогону и велел женщинам собирать на стол.

Вскоре сыграли новые родственники в склад- чину общую негромкую свадьбу. И перебралась Женя на жительство в Костин дом, в ту самую половину, о которой сказал во время сватовства отец его Иван Иванович.

Зажили молодые дружно. Хлеб в Костиной се- мье имелся, ели чистый, без всяких мякинных примесей, пышные ржаные караваи. Ведь не зря же молодой хозяин работал в эмтээсе на колес- ном тракторе СХТЗ. По этой же причине он по- лучил бронь от призыва на военную службу и, не оглядываясь, работал на вспашке почвы то в од- ном, то в другом колхозе.

Время шло, война грозной тучей подступала к самой Москве, и поздней осенью сорок первого года бронь с Кости сняли, вручили ему призывную повестку. Побыв какое-то время в Гороховецких лагерях, побегав в атаку с деревянным ружьем, Костя вместе со своим запасным полком, получив боевое оружие, отправился на фронт, в самое пекло — под Москву.

Из-под Гороховца пришло Евгении два письма. И сама написала мужу несколько писем. Номер полевой почты, из части, он так и не прислал. На том их переписка и прекратилась. Прошла неделя, другая, целый месяц истек. В 1942 году, где-то в конце февраля, доставили из боевой части в казенном конверте печальную грубого производства бумагу. А в ней несколько слов: "Рядовой Константин Иванович Гурьянов во время боев в Подмоскovie пропал без вести".

Убитая горем молодая женщина несколько дней лила горячие слезы, ходила сама не своя, забыв о еде и сне. "Как это пропал без вести? — думала Евгения. — Стало быть, не убит, живой, выходит? На-ко ты, пропал. Человек, он ведь не иглока. Как так пропасть может?"

Свекровь Аня высказала догадку:

— Может, раненый в поле лежал, замело его снегом, никто и не увидел. Замерз начисто.

Иван Иванович, отложив в сторону ремонтируемый хомут, как старый солдат, побывавший на войне еще в ту германскую, с женой не согласился.

— Как это так никто не увидел? Не один он в атаку шел, с товарищами. А раненых после боя обязательно подбирают. Если не убит, то что-то другое произошло. А может, и напутала ротная канцелярия. Может, ошибка вышла. На войне всякое бывает. Подождем.

И решили еще подождать. Подать в церкви "за упокой" всегда успеется. А Женя затосковала. Жгучая кручина сжимала грудь, наливала глаза обильными слезами. Ну-ка потерять мужа в самом начале счастливой жизни! Мыслимо ли такое? Но судьба не спрашивает человека, как ему быть, судьба сама его жизнью распоряжается. Не забывай об этом всяк суший в этом мире.

II.

А время шло своим чередом. Все так же над Клиновкой вставали по утрам рассветы, так же туманился на вечерней заре заросший у берегов осокой и чернопалочником старый, омывающий предбанники пруд. Точно так же, как год или два назад, кричали по утрам на всю деревню горластые петухи. В густых зарослях ивняка по-прежнему разливались песни любви неугомонных соловьев.

Но были уже немалые сдвиги в пользу Красной

Армии. Позади осталось успешное сражение под Москвой. Большой победой и крупным пленением немцев завершилась Сталинградская битва. Фашистские танковые полчища потерпели сокрушительный разгром под Курском, Орлом и Белгородом. Полным ходом началось освобождение нашей территории от немецкой оккупации.

Шла благодатная, дарующая людям добрые надежды на будущее осень 1943 года.

Получив в фронте контузию и тяжелое ранение, вернулся в родную деревню гвардии сержант Василий Макаров. Вернулся на груди с медалями "За отвагу" и "За оборону Сталинграда".

— Комиссовали меня подчистую, — рассказывал он матери. — Видишь, правая нога стала короче левой. В Сталинграде подковали.

Мать, полная крупная женщина лет под шестьдесят, была бесконечно рада, что сын вернулся домой живым и пусть хромым, но здоровым. А нога — это не велика беда, хромоту вполне жить можно. Теперь бы в дом молодую жену, и пусть сын растит деток да радуется жизни.

Сына тетка Марья вырастила одна, без мужа, хватила лиха через край, когда уехал в тридцать третьем ее Анисим, плотник и столяр, в Сибирь на заработки. Народ пошел в колхоз, а Анисим уехал. Уехал да там и сгинул, домой не вернулся.

Вася вырос на радость матери мальчиком смирным. В ребячьи потасовки не ввязывался. Учился не хуже других. В четырнадцать лет стал работать в колхозе на лошади. Научился плести лапти. Словом, вырос парень как парень, лицом похожий на отца, с русыми мягкими, будто шелковыми волосами на круглой голове и носом, как у отца, с горбинкой. А фигура, — весь в матушку родную, высокий и, как говорили в деревне, хорошо скроенный, крепко сшитый. Жили мать с сыном в добротном о четыре окна на улицу доме, срубленном умелыми руками отца где-то в конце двадцатых годов. Дом стоял на солнечную сторону большими окольными, украшенными мастерски сделанными белыми, с синими звездочками, наличниками. По карнизу тоже шла в обшивку нарядная с тонкой резьбой доска, выкрашенная в тот же цвет, что и наличники. Мастер, сотворив такое чудо, как бы говорил прохожим: смотрите, люди добрые, да радуйтесь.

И еще произошло в деревне одно немаловажное событие. Скончался дядя Петро, Женин отец. Мать ее Анисья, больная старая женщина, осталась одна. Посоветовавшись со свекром и свекровью, Женя перебралась на жительство в родительский дом. Гурьяновы долго не соглашались, чтобы сноха оставила их, но пришлось смириться с обстоятельствами. Сами они были еще крепкими стариками и могли обойтись без посторонней помощи. Иван Иванович на прощание сказал снохе:

— Не забывай, дочка, что наш дом — это и твой дом. А Костя... Костя, похоже, не вернется. Сколько времени прошло, а где он? Ни слуху, ни духу.

Тетка Анюта прослезилась, обняла сноху и попросила почаще заходить к ним.

— У нас и корова, и курочки, — сказала она. — За молоком заходи, за яичками. Помни, мы всегда тебе рады, как родной дочери. Жаль, внучонка ты не принесла, то-то радости нам было бы.

Где-то почти перед самым Новым годом, под вечер в дом к Зверевым постучался человек.

— Кто там шумит? — спросила тетка Анисья. — Заходи, если пришел, мы не запираемся.

Дверь в избу открылась, и через порог перешагнул Василий Макаров, фронтовик и новый бригадир второй полеводческой бригады. Одет он был в крытый черным сукном полушубок, в костюмную, темно-синего цвета, шевиотовую пару. На голове лохматился заячий малахай, ноги были обуты в черные чесанки с калошами.

— Шел вот мимо и решил заглянуть, — сказал он. И, покашляв в кулак, спросил: — Евгения дома ли?

— Дома, дома. На печку вон забралась, семенной овес веяла сегодня на ладони. Вся переколела. Отогревается вот... Жень, ты спишь там? — позвала дочь тетка Анисья. — Гость к тебе пожаловал. Спускайся с печки-то.

Женя не спала. Она по голосу сразу узнала, кто пришел. Сердце тревожно засуматошилось: зачем пришел-то, по какому делу? А ну как беде какой быть? Да вроде не похоже.

— Чего ты вырядился сегодня, Василий? — спустившись по пристенной лесенке с печи, спросила Женя. — Уж не именинник ли? Да ты проходи, проходи, садись вон на лавку, к окошку поближе.

— Не именинник, я родился летом, — сказал Макаров. — А дело у меня поважнее именин.

Помолчав немного и покашляв в кулак, Макаров кое-как собрался с духом и выпалил:

— Жениться я надумал...

— С чем и поздравляю тебя от всей души!

Только тут Женю осенила догадка. Ведь это он, видно, свататься к ней пришел. Ну дела! А сердце в груди сладко-сладко заныло и медленно ворохнулось. Как живой, вспомнился пропавший на войне Костя, как поссорился он из-за нее с Васей, как Вася неумело ухаживал за ней, провожал домой с молодежных вечеринок. Он ей нравился тогда, и только Костя, прямой и решительный, увлек ее, отшил Васю и увел ее под венец. Где он теперь, Костя-то? А Вася вот он, живой и здоровый, пришел к ней свататься.

— Погоди поздравлять-то, — взволнованно сказал Макаров. — Ведь я к тебе пришел, а не к кому-нибудь. Что скажешь-то, Евгения Петровна, а ты что, тетка Анисья?

Старая женщина не сразу ответила:

— Как нам быть, трудно сказать. Вдруг мужик ее с войны придет? Говорят, по госпиталям раненые годами лежат. Как Бог рассудит, кто знает.

— Хороший ты парень, Вася, — сказала Женя. — Любая девка за тебя пойдет. А я боюсь. Вдруг Костя вернется. Да и родителям его что я скажу?

— С Иваном Ивановичем и теткой Анютой я сам все улажу. Тут ты не беспокойся. Люди они хорошие, все поймут. Лишь бы ты согласилась.

— Как я соглашусь при живом-то муже?

— А похоронка-то зачем? — заволновался Макаров. — Такие бумаги зря с фронта не посылают.

Сидели они втроем долго, до вторых петухов, примеряли свою судьбу и так, и этак. В конце концов пришли к тому, чтобы немного подождать.

И Вася зачастил к Зверевым. То вечером заглянет к ним в дом, то в воскресенье. Дров, бывало, нарубит, во дворе приберется. А однажды во вьюжную пору привез из лесу на лошади целые сани саженных сутунков. Потом, выбрав время, они с Женей распилили их на дровяные чурбаки. А Вася расколол чурбаки и сложил дрова в поленицу.

Парень не поленился и сходил однажды к Гурьяновым. Иван Иванович встретил Макарова приветливо, предложил табачку, как он выразился, с первой грядки от бани. Табачок оказался что надо, и два солдата, старый и молодой, душевно побеседовали и пришли к тому, что Евгении не век куковать во вдовстве. И если встретился подходящий человек, а Васю Макарова он именно таким и считал, то почему бы им не пожениться. Если, понятно, Евгения не против. Тетушка Анюта, поплакав и поохав, супротивничать мужу не стала.

Так вот мало-помалу дело устроилось, и после Троицы в Калиновке появилась новая семья.

К сказанному надо добавить, что еще по весне скончалась Женина мама, тетюшка Анисья. Сходила днем к поросенку, дала ему поила, под вечер принесла ведра воды с колодца, легла на печку погреть старые кости и так во сне, никого не побеспокоив, отдала Богу душу. Похоронили ее по христианскому обычаю, в церкви батюшка провел отпевание. И покоится она теперь под сенью старой кудрявой березы, рядом с могилой почившего в бозе мужа ее Петра Ивановича, примерного семьянина и безотказного крестьянина-труженика.

III.

К Василию Женя долго не могла привыкнуть. Ей постоянно снился и виделся другой человек — Костя, Константин Гурьянов, с которым прожили они очень короткую жизнь. Она настолько прикипела к нему сердцем, так полюбила его, что не могла представить, как у нее получится жизнь с Васей Макаровым, к которому потянулась с тоски, но сердцем так и не приняла.

Досужие кумушки шептались в деревне, что в первую ночь, приготовив после ужина постель, она ушла из избы и спряталась на сарае. Там, зарывшись в прошлогоднее сено, и переночевала. Василий долго искал ее во дворе и в клети и, расстроенный непонятным ему поступком, ушел на свое одинокое брачное ложе.

Утром чуть свет она взяла в припечной комнате подойник и собралась идти доить корову. Василий встал с постели, остановил ее, ласково взял за руки и посмотрел ей в зареванные глаза:

— Что происходит-то, Евгения, может, скажешь, если не секрет?

— Ты уж прости меня, Вася, — потупясь, промолвила Женя, — не могу я пока с тобой, боюсь чего-то. Не обижайся, дай мне немного привыкнуть.

Так они прожили врозь, ни муж-ни жена, целую неделю. И целую неделю молчали, будто чужие. Васина мать тетка Марья смотрела и удивлялась: что же такое у них происходит? Вскоре старая женщина догадалась и приставать к ним с расспросами не стала. А дело постепенно наладилось. В избу будто солнце заглянуло, слышны стали шутки, смех. Молодые радовались совместной жизни.

Однако радость оказалась преждевременной.

Гром разразился среди ясного неба ранней осенью, пред самым Воздвиженьем. Дуня-почтальонка, обслуживающая несколько деревень, разыскала Женю на картофельном поле, где они вместе с другими женщинами из бригады собирали вырытые черкушей клубни.

— Женя, тебе письмо! — крикнула с дороги Дуся. — Скорее сюда, пока плясать не заставила.

“Что за письмо? От кого? Вроде не с кем я не переписываюсь”. И тут же обожгла ее неожиданная мысль: “Уж не от Кости ли?” Ноги сразу ослабли, тело сделалось чужим, и она еле добралась до края поля.

Нет, письмо было не от первого мужа! Письмо послала ее бывшая подруга Таня, которую в начале войны мобилизовали работать на какой-то номерной завод и обрелась она вот уже несколько лет в городе Перми, на Урале. Таня писала, что во время прогулки с подружками по городу она на привокзальной площади встретила мужчину, очень похожего на Костю. Он сидел на

грязном асфальте на проезжей части улицы, неподалеку от касс пригородного сообщения, и просил милостыню. У ног его, точнее у одной согнутой в колене ноги, лежал кожаный картуз. Мужчина осенял себя крестным знаменем, что-то бормотал под нос, а в картуз его то и дело сыпались металлические монеты или бумажные рубли да трешницы.

Таня прошла мимо нищего инвалида несколько раз, но сказать себе, Костя ли это, уверенно не могла. Весь облик этого человека очень походил на Костю Гурьянова, но по лицу трудно было определить, что это был именно он. Левая половина лица оказалась изуродованной, челюсти чего-то не хватало, похоже, зубов. Испорчен был глаз. Таня писала еще: “Если хочешь удостовериться, не ошибаюсь ли я, приезжай сама. Вместе сходим на вокзал и посмотрим”.

Сказав работающим женщинам, что ей нужно срочно домой, Женя бросилась искать Василия. Наша его у амбаров, где группа солдаток сортировала зерно. Увидев чем-то явно расстроенную жену, он подошел к ней и тихо спросил:

— Что случилось?

— Не знаю, что и сказать, — заплакала Женя.

— Письмо вот...

Василий взял из ее рук распечатанный конверт, вынул вложенный в него исписанный химическим карандашом листок бумаги и медленно стал читать. Лицо его побледнело. Прочитав бумагу, он тяжело вздохнул и спросил:

— Что делать-то теперь будем?

— Не знаю, Вася, ох, милый, не знаю! Пойду теперь к нашим, к свекру и свекрови, поделюсь новостью. Что-то они скажут. Скорее всего, придется в Пермь ехать.

— Ох судьба наша, судьбинушка, — сказал Василий. — Не зря говорят: не каждому в жизни счастье выпадает. Сходи, Евгения, к старикам. Умолчать тут никак нельзя.

Женя чуть ли не бегом кинулась к знакомому дому, благо он был неподалеку от амбаров.

Старики копали в огороде картошку. Увидев в неурочный час сноху, всполошились. Сама внешность молодой женщины, растрепанной и косматой, вызывала тревогу. Женя сразу приступила в делу.

— Письмо вот от Таньки Селезневой получила из города Перми. Про Костю пишет, будто на вокзале он там сидит, милостыню просит.

— Как это так? Что у него, родного дома нет? Чего это он выдумал, непутевый? — посыпались стариковские вопросы.

— Изувеченный он, пишет Танька. А почему домой не приехал, не знаю. Вот и пришла к вам спросить: не съездить ли мне в эту самую Пермь? Может, и правда Костя там.

— А и съезди, матушка, не поленись, — ска

зала тетушка Анна. — Деньгами на билет мы тебе поможем.

— Поможем, как не помочь, — подтвердил слова жены Иван Иванович.

Через пару дней, вечером, Женя была уже в Перми. Таню она быстро разыскала по обратному адресу в письме и пришла к ней в общежитие при заводе. Подружки с радостью бросились друг к дружке в объятия. И затараторили каждая о своем. Решили, что переночует Женя тут же, в общежитии, а утром она отпросится на заводе, и поедут они на попутном трамвае к железнодорожному вокзалу.

Вокзал кишел людьми как муравейник. Одни спешили к кассам, другие — к автобусной и трамвайной остановкам. Почти у каждого в руках узлы, чемоданы, баулы... Женя растерялась. В такой толчее и заблудиться недолго. Но Таня, как настоящая горожанка, уверенно вела Женю за руку к знакомому месту у пригородных касс. Однако там мужчины-инвалида, похожего на Костю, не оказалось. Молодые женщины обошли все привокзальные углы и закоулки, но инвалида не нашли. Отчаявшись, решили заглянуть еще в одно бойкое место, к остановке автобуса возле больших, с черными стрелками, электрических часов.

Инвалид сидел под ним на широкой низенькой деревянной скамеечке. Перед ним так же, как и тогда, когда наблюдала на нем Таня, лежал на земле кожаный картуз, так же сыпались рубли и трешки. Рядом лежал костыль. Женщины остановились неподалеку у какого-то ларька и стали наблюдать. Постояв минуту-другую, Женя тихо шепнула подруге: «А ведь это Костя!» И заплакала. А потом, не помня себя, бросилась к мужу.

— Костя, милый Костя! Как ты тут оказался? Почему не вернулся домой? Я так ждала тебя, так ждала! Ни писем, ни поклонов!.. Как ты так можешь?

Лицо инвалида дрогнуло, он распрямил спину, правая, неповрежденная щека, задергалась, по ней проскользнула крупная слеза, затем другая...

— Ты ошибаешься, женщина, — охрипшим, будто со сна, голосом сказал инвалид. — Никакой я не Костя, я Иван. Иван Сидоров. И оставь меня в покое, не приставай!

— Какой Иван, ты Костя! — пришла на помощь подруге Таня. — Его дома ждут жена, отец с матерью, все окошки проглядели, а он тут раскидывается! Как не стыдно-то?

Женщины долго стояли возле инвалида, говорили разные плохие и хорошие слова, стыдили его. И, видно, добились своего.

— Да, — наконец сказал Костя. — Мне действительно стыдно за себя. Кому я нужен такой

— без ноги, с чужим лицом, с крошечной пенсией? Я ведь механизатор. А кто мне доверит трактор? Не хочу быть гирей на чьей-то шее. Привык я сам на жизнь себе зарабатывать. Да и в бою, как видите, за спину товарищей не прятался. А жена — что жена? Как в песне поется: «Жена найдет себе другого, а мать сыночка никогда».

Женя переменялась в лице, ей трудно стало дышать. Она едва не упала в обморок... Таня поддержала подругу под локоть и решительно сказала.

— Чего мы на людях-то разговариваем? Пойдемте-ка к моей товарке по работе на квартиру, она неподалеку от вокзала живет. Там спокойно, без этой сутолоки, обо всем и потолкуем.

Костя долго еще упирался, просил оставить его в покое, не мешать заниматься тем, к чему привык. Женя стала перед ним на колени и со слезами на глазах упрашивала:

— Костя, родненький мой! Чего же ты хочешь? Али забыл нашу любовь? Али прогневала я тебя чем? Мать и отец тебя ждут, узнали, что жив. Дома все хорошо. Чего тебе еще нужно?

— Ладно. Я не гордый. Мне много не надо, — сказал Костя. — А если идти отсюда, то пойдем ко мне. Таня, поди, оставит нас. У меня тут есть одно место, у старушки угол снимаю. Там и поговорим.

И он, выбрав из картуза подавание и подобрав костыль, изловчившись, встал на ногу. Хотел взять и скамеечку, но Женя подхватила ее себе под мышку. Ошеломленная неожиданной встречей, супружеская пара медленно двинулась к Костиной квартире. Таня, немного постояв и посмотрев им вслед, неспешно отправилась к трамвайной остановке.

IV.

Угол, как назвал Костя свое местожительство, оказался комнатой квадратов на десять. У стены стояла кособокая, давнишнего изготовления кровать-односпалка, у окна притулился небольшой квадратный столик на еле оструганных укосинах и подсунутая под стол некрашенная табуретка. Костя выдвинул ее и предложил Жене сесть. Сам он устроился на кровати.

— О чем говорить-то будем? — спросил он Женю. — Вроде бы обо всем поговорили.

— Поговорили да не договорились, — сказала Женя. — Неужели тебя устраивает такая жизнь — день на вокзале, ночь вот в этой комнатухе? Ведь у тебя в деревне дом хороший, старики дожидаются. Кто их докармливать-то будет? Ведь не вечные они. Да и я тебе не чужая. Или разлюбил? Когда-то ласковые слова говорил, теперь забыл, поди, все?

— Ничего я не забыл. Все помню как есть.

Все эти годы только о тебе и думал. Думал и боялся: заботится меня Женя, бросит и уйдет к другому. Посмотри, на кого я теперь стал похож, на урода, каких мало. Я, когда увидел себя в зеркало, проклинал врача за то, что оставил меня жить, не человека, а страшилище.

— Наверное, иначе нельзя было?

— Наверно, так. Только на душе-то мутно. Ну кому я теперь такой нужен, не человек, а чурбан неотесанный с костылем?! И потом развонит теперь Танька, чем я тут занимаюсь, сраму не оберешься. Вся деревня пальцем будет тыкать в меня.

— А чего Таньке болтать-то? Она тут останется. Да и упрошу я ее. Не пикнет. Она такая. Так что давай собираться домой, Константин.

— Нищему собраться — только подпоясаться, — невесело пошутил Костя. И спросил: — И чем я буду, по-твоему, заниматься дома? Лапти плести? Не умею.

— Эх, Костя, Костя! Не зря же говорят: была бы шея, а хомут найдется. Я бы на твоём месте поступила на курсы колхозных счетоводов и знай себе шелкала бы на счетах. Чем плоха работа?

— Работа-то хорошая, только женская она, а я хоть и безногий, да мужик.

— А это ты зря, — возразила Женя. — Недавно я в Яранске была, в сельпо. Главный бухгалтер там мужчина. И в заготзерне за счетами очкастый мужик сидит.

Костя задумался. Похоже, новая перспектива благоустройства жизни его заинтересовала.

— Я подумаю, — сказал он.

— И долго будешь думать? — спросила Женя.

— Да как сказать... Торопиться-то мне некуда. Я подумаю, — еще раз сказал Костя.

— Думай, только поскорее. Я без тебя домой не поеду.

Стуча бидоном из-под молока в дом пришла хозяйка, полная бледнолицая старушка небольшого роста лет шестидесяти.

— О, да у нас гости! — сказала, будто пропела, хозяйка. — Уж не жена ли разыскала тебя, бедолагу?

— Нет, не жена, — соврал Костя. — Сестрица вот явилась.

Женя смутилась: «Зачем он так сказал? Стесняется ее, что ли? Неуж так плоха я?»

— Сестрица так сестрица, мне какая разница, — сказала хозяйка. — Давай-ка самоварчик поставлю по такому случаю да чайком душу погрею.

Вскоре хозяйка пригласила Гурьяновых к столу. К чаю она выставила богатое по тем временам угощение: пиленый кусочками сахар, мелкую сушку, несколько ломтиков черного хлеба.

— Хороший человек ваш Костя, — сказала она Жене. — Вино не пьет, табачищем не дымит. А

то, что на столе, тоже его стараниями.

— Баба Настя, — обратился Костя к хозяйке. — Домой вот сестрица зовет, не знаю, что и делать?

— По мне так и здесь живи, сколько хочешь. Только родная-то земля человеку ближе всего, — сказала баба Настя. — Я вот человек деревенский, и когда придет срок умирать, обязательно домой уеду.

Так вот за приятной беседой и сидели до самого вечера. Баба Настя спросила гостью:

— Как зовут-то тебя, милая? Женя? Евгения, значит. Хорошее имя. Я постелю тебе в передней на раскладушке. Заночуешь. А утро вечера мудренее. Там и решите с Костей, ехать ему — не ехать.

— Обязательно ехать, бабушка. Его дома мать с отцом ждут. Да и жена молодая имеется. Ей-то куда деваться?

Утром Костя сказал:

— Ладно, дорогая жена. Считаю, что уговорила меня. Поедем домой. Давай собираться.

Дорогой в поезде, в полупустом вагоне, Костя рассказал обо все, что с ним произошло.

Рота пошла в атаку без поддержки. Когда до намеченного рубежа, небольшой деревеньки, оставалось не более полусотни метров, слева во фланг ударил немецкий ручной пулемет. А из деревни, навесным огнем, стал плеваться по цепи миномет. Рота, упав в снег, залегла. И едва огонь немного поутих, ротный подал команду — вперед! Гурьянов вскочил. Но едва успел пробежать несколько шагов, как что-то сильно ударило его по ноге и в голову. Неподалеку разорвалась мина. Он потерял сознание...

Как обрабатывали раны в медсанбате, как везли в полевой армейский госпиталь, он не знает, был без сознания. И только через несколько недель пришел в себя, узнал, что находится в госпитале под Москвой. Через какое-то время его как безнадежного для дальнейшей строевой службы отправили на излечение в дальний тыловой госпиталь в город Пермь. Тяжелая рана на голове долго не заживала, а обмороженную и разбитую осколком ногу по самый пах отхватили еще до Перми.

Прошел, должно быть, целый год, когда Гурьянов, в минуту озарения оптимистической мыслью, что вот, мол, несмотря ни на что, жив остался, попросил у дежурной сестры зеркало. Осторожно взял в руки, всмотрелся одним глазом в заросшее темной щетиной лицо и пришел в ужас. Глянец стекла показал ему нечто страшное, ни на что не похожее. Он выронил зеркало и горько, навзрыд заплакал.

Лежавший с ним на соседней койке без обеих ног гвардии старшина из Омска стал Костю успокаивать: «Брось, Гурьянов. Не развешивай

нюни. Голова в общем-то цела, что к чему соображает, есть одна нога. Значит, жить можно! А все остальное приложится”.

Слова эти Костю мало трогали. Иногда ночью, в часы сплошной бессонницы, приходила дикая мысль: а не наложить ли на себя руки? Но он, цепляясь еще за некую спасительную идею, гнал прочь бредовое устремление. А идея эта была в думах о жене, дорогой для него женщине, которая часто ему виделась во сне, красивая, ласковая, настойчивая и неповторимая. Старшина не раз предлагал написать ей письмо, более того — настаивал.

— Дурак ты, Гурьянов, — говорил он ему. — Ногу ты потерял, полголовы в бою скинул. Теперь осталось только жену потерять.

— Если любит, дождет, — упирался Костя. — А писать не буду. Как увидит меня, этакое страшилище, в обморок упадет. Не такой я сейчас человек, каким она меня знает. Совсем не такой. Не человек я, а калека.

— В первую очередь дурак, вот кто ты! — ругал Костю старшина. — Как она будет знать, если не пишешь, что живой и где находишься.

Первым подал мысль сесть на вокзале с шапкой для сбора милостыни один здешний солдат, с которым они вместе выписались из госпиталя:

— Познакомлю я тебя, кореш, с одной весьма порядочной старушенцией, которая приютит тебя на недельку-другую, а заработок — есть такой заработок, который нам, изувеченным, в самую пору. Давай так договоримся: ты с одной стороны вокзала сядешь, а я с другой. Думаю, с голоду не помрем. В детстве еще я встречал у нас в городе таких людей, жили они получше многих других.

Костя задумался. Во всем их крестьянском роду, от дедов до прадедов, нищих побирушек не бывало. Он, стало быть, станет первым? А душу обливал стыд: сесть на виду у прохожих, кланяться: “Подайте Христа ради?” О, Господи! Что же делать, как быть? Устроившись на постой к бабе Насте, он понял, что другого пока не дано, и решил попробовать.

Первый день принес неожиданные результаты. В его старую солдатскую шапку сердобольные люди набросали около сотни рублей. Так стал он “работать”, добывая себе на пропитание и помогая жить бабе Насте.

V.

Женя жарко натопила баню, приготовила мужу белье. Достала с подложки свежий березовый веник, припасенный дедом Иваном, нашла в сундуке душистый кусок мыла и позвала Костю париться. Разделись они в предбаннике вместе, она помогла зайти ему в баню, усадила на липовую

лавку, налила воды. Они попарились, немного отдохнули, а потом Женя стала мыть мужа. Сначала намылила, стараясь не задеть изувеченную часть лица, голову, потом стала мочалкой тереть ему спину и грудь. Костя зажмурился от удовольствия. А потом осторожно, стараясь не быть грубым, обнял ее, потную, обеими руками и всласть, но бережно, как ребенка, поцеловал самого дорогого для него человека в сахарные уста.

— Погоди, милый, не торопись, давай сперва вымоемся, — остановила она мужа. Он подчинился, с трудом выпустил ее из горячих рук, стал успокаиваться.

— Знала бы ты, милая Женя, как я натосковался. Смотрю вот на тебя, а в голове туман, в груди просыпается молодость, которую, живя в одиночестве, я будто утратил навовсе. И, кажется, вновь возвращается бывшее счастье, — радовался нахлынувшим чувствам Костя.

Они вернулись в предбанник, не спеша вытерлись полотенцем, оделись. Попили свежего квасу. И тут Женя громко заплакала и бросилась перед мужем на колени, обхватила его ногу своими обессиленными руками.

— Что я наделала, Костя, что я наделала? Прости ты меня, непутевую! Разве я знала, что ты живой? Если бы знала!

— Не пойму я: что случилось-то? Что ты рвешь, будто по покойнику?

— Согрешила я перед тобой, нарушила клятву, данную тебе перед Богом... Замуж я выходила, вот что!.. — Она, рыдая, замолчала. — А теперь можешь побить меня, можешь прогнать. Как скажешь, так тому и быть.

— Простить можно и нужно, потому что я сам во всем виноватый.

Костя стал поднимать жену с колен:

— Давай будем считать, что ты передо мной извинилась. Скажи только: кого ты пригрела? В деревне вроде и мужиков-то нет? И что тебя заставило сделать это?

— Заставила нужда и тоска жгучая, — стала рассказывать Женя. — Ну-ка умер скоропостижно-тятенка, а почти следом за ним скончалась и мама. Дров в избе ни полена, ночью ветер в трубе стонет, будто домовый там сидит. Волосы дыбом вставали. Тут хороший человек и подвернулся. Кто он, спрашиваешь? Ты знаешь его, это Вася Макаров. Только ты не тронь его, невиноватый он. Меня ругай.

— А, старый соперник! — удивился Костя. — Учил я его когда-то, да, видно, плохо: урок в прок не пошел. Ну, да Бог простит и его. Хотя он сукин сын и прохвост! Девочек ему мало, нашел слабую бабу.

Дома, когда они пришли из бани, на столе вовсю исходил паром старый, с медалями на боку, самовар. Бабушка Аня напекла овсяных блинов, а Иван Иванович выставил на стол по случаю возвращения сына под белым сургучом поллитровку "Московской".

Спать супруги легли вместе.

Где-то далеко гремела еще война. Над Калининкой тихо проплывали облака. Торопились на

юг гусиные косяки. Отправлялась в южные края и мелкая птаха. По ночам бледнолицая вороватая луна заглядывала в окна крестьянских изб, высматривала дворы и риги. И катилась, катилась куда-то по своим неизвестным нам делам.

В дом Гурьяновых пришло счастье. И люди в нем крепко спали. Дай им Бог доброго здоровья.

Июнь 1997 год.

Птичка-невеличка

*И воин, идущий на битву
И встретить готовый ее,
Как клятву шептал, как молитву
Далекое имя твое.*

Михаил Исаковский.

I.

Мать разбудила Санка ни свет, ни заря: "Вставай, пора в поле". Капризная весна нынче запоздывала, и надо было спешить. Если прежде к маю сев овса и ячменя заканчивали, то нынче не было даже вспахано и трех четвертей ярового клина. Парни торопились, потому как знали: упустить сроки — хорошего хлеба не соберешь.

За Большим оврагом, подошедшим к самому Крутовражью с запада от деревни Кушнур, раскинулось большое, гектаров на сотню, яровое, еще не вспаханное поле. Вот тут, в углу на бугре у самого селения, где овраг круто поворачивает на юг, к Изидорам, стояла в ту пору маленькая, об одном поставе, четырехкрылая мельница, которую построил в еще дореволюционное время дядя Петро, Санков сосед. Мужик он был хмурый, неразговорчивый. Рыжая борода его плас-талась по всей груди, чуть ли не до опояски. Санко помнит, как родная его бабушка Настасья, отцова мать, круглая, как колобок, старая женщина, ласково называла соседа "кум Петрунька".

Мельница, имевшая форму четырехугольника, высоко громоздилась на конусообразном, о четыре стороны, бревенчатом срубе. Она славно послужила когда-то крутовражским мужикам, обеспечивая мукой и посыпкой всю деревню. Правда, тогда и деревня за оврагом была невелика, домов с пяток, не более. Это, как рассказывают старики, были первые поселенцы здешних мест, и дед дяди Петра вместе с Санковым прадедом Демьяном — в их числе.

С кончиной дяди Петра мельница остановилась, захирела и Санко, бывало, с ватагой друзей не раз шумно играли здесь в войну. Ребятчи сраже-

нья привлекали сюда, за Большой крутой овраг, наверное, полдеревни сопливых пацанов, не подозревавших, что совсем скоро далеко на западе разразится настоящая кровопролитная война, которая вытряхнет из деревни всех молодых мужиков и парней...

И вот уже вторую весну мальчишки заменяли на пахоте и других колхозных работах, требующих невероятных физических усилий, ушедших на фронт еще в первое лето войны мужиков.

Санко, парень лет шестнадцати, выросший без отца в многодетной семье, умел делать всякую крестьянскую работу. Вот и сегодня он ходко мерил большими, подковыренными для крепости дополнительным лыком лаптями, отшлифованную лемехом борозду. Соха шла легко. Санко сноровисто держался за отполированные крепкими мозолистыми руками ручки сохи и удовлетворенно пошумливал на карюю, с большим белым продолговатым пятном на лбу лошаденку по кличке Лысуха:

— Но, но, милая, пошевеливайся! Прохлаждаться нам некогда.

И чувствовалось в его голосе столько мужской уверенности, столько хозяйской гордости, будто бы Санко наипервейший парень во всей деревне, будто глядели на него в этот ранний утренний час все соседские бабы и девки и как бы говорили ему: "Гляди, Санко, не подкачай, на тебя и на друзей твоих вся надежда, смотрит на вас, почитай, весь колхоз".

Санко невелик ростом, коренаст и малоподвижен. Из-под старого с надорванным козырьком картуза на голове выбиваются давно не стриженные вихры, похожие на прошлогоднюю рыжеватую куделю. Круглое, загоревшее от вешнего солнца веснушчатое лицо его, с покрытыми нежным пушком щеками, с призагнутым вверх пуговкой-носом, постоянно улыбается ясному погожему утру, ходко вышагивающей впереди сохи лошади и просто, наверное, тому, что вот покудова жив-здоров и топчет травушку-муравушку, радуется разгуливающим по пашне черномазым гра-

чам, заливающимся от полноты чувств высоко в небе невидимому жаворонку и прочим явлениям жизни. Рад, что дышит полной грудью и ни о чем пока особом не задумывается. Потому как хозяйством в доме правит пока мать и о куске хлеба в первую очередь думает она.

Нет, в стороне от материнских хлопот Санко не стоит. Вот он работает за мужика. Как пахарь, получает в день из колхоза каравай ржаного хлеба фунта на два, испеченного с примесью вареной картошки. И этот каравай он весь оставляет дома, чтобы мать могла немного подкормить младших голоштаных братишек.

Пахарей на заовражном большом поле можно было насчитать пятерых. Все почти одногодки, они правили нелегкое мужское дело на совесть. Чуть брезжил рассвет, и все они, молчаливые от недосыпания, закинув через плечо вожжи и чересседельники, важно, не торопясь, шли на конный двор, выводили из стойл хорошо накормленных коней, надевали на них хомуты и седелки, садились верхом и охлюпкой отправлялись в поле. Каждый к своему загону, где оставалась на ночь соха.

Время шло к завтраку. Санко все чаще поглядывал в сторону старого ветряка, откуда из-за оврага, из совсем близкого дома, должен был показаться младший брат Колька с узелком. Кое-кто из Санковых дружков уже останавливался в конце загона, примыкавшего к южному рукаву оврага, надевал на морду лошади котомку с припасенным овсом, чтобы и животное могла подкрепиться, и сам приступал к трапезе. Санкова Лысуха, видя жующих овес товарок, никак не хотела торить борозду, и парню требовались немалые усилия, чтобы заставить ее шагать дальше.

Да и сам Санко не прочь был поесть и отдохнуть, потому как времени провел в борозде немало. Наконец, как всегда неожиданно, показался из-за старых берез и Колька. Лысуха, увидя его, без промедления остановилась, радостно заржала и посмотрела в сторону молодого хозяина, как бы говоря: мол, чего ты медлишь, я ведь тоже хочу есть.

Завтрак был не из богатых: бутылка снятого молока, несколько небольших печеных картофелин, вареное яйцо и краюха испеченного с толченым клеверным пыжом ржаного разваливающегося хлеба, лишь отдаленно похожего на съестное. Санко выбрал посуше местечко под молодой березкой, бросил на землю старенькую, с клочками вылезающей на локтях рыжей ваты, фуфайку и расположился отдохнуть. Колька, подшвыривая носом вылезающие из ноздрей густые зеленые сопли, во все глаза глядел, как Санко уминает принесенную еду.

— Сопли-то утри, Колян, а то ведь в пруд тебя утащат, — заметил Санко.

— Кто утащит-то? — удивился Колька.

— А кто? Водяной сцапает за сопливые вожжи-то, — разъяснил Санко и подал Кольке картофелину с поджаренной хрустящей корочкой. — Гляжу, не завтракал ты тоже?

— Так мамка к тебе вытурила. Мол, вернешься, дак тогда поешь.

Колька посыпал картофелину крупной серой солью, моментально уплел ее и нацелился на другую, да поостерегся: мол, хватит ли старшему-то брату?

— Бери еще, чего там, — сказал Санко. — Помогай давай, мне хватит.

Упрашивать Кольку не пришлось. Утолив немного голод, Колька только тут вспомнил, что не сказал брату новость, которую принес из деревни.

— Мамка сказывала, что Танька Петрова из города вернулась. Тебя спрашивала: мол, как у Санка дела идут. Гулять ходит ли? Хотела вечером к нам прийти, тебя проведать.

— Нужна она мне! — осердился Санко. — Только о ней у меня и забота.

Танька Петрова — это соседская девчонка, “кума Петруньки” дочь. Ее добрых полгода не было дома, прохлаждалась где-то в городе, у тетки. Танькина мать, отправляя дочь к сестре, не теряла надежды, что девка устроится для начала хотя бы в няньки в какую-нибудь хорошую городскую семью, подработает немного денег, а там, даст Бог, и на белошвейку выучится. Как видно, не привелось.

Не отличавшейся особым усердием девахе городская жизнь приглянулась. Не надо было вставать чуть свет, идти на колхозное поле полоть лен или молодую картошку, или же, когда придет время, брать в руки серп и целый день, с раннего утра и до позднего вечера, не разгибаясь, жать хрусткую, пропыленную на корню у дороги рожь или чуть поднявшийся в жаркое лето от земли колючий ячмень. Таньке хотелось работы чистой, не обременительной. Такую вот стезю они с матерью и наметили поискать в городе, благо жила там близкая родня.

Танька пробыла в няньках совсем немного. Ее попросили освободить место по причине совершенной непригодности к столь ответственному делу. Дитя у нее почему-то постоянно ревело, называло Таньку какой. Нередко она накрепко засыпала у кровати спящего дитяти, забыв, что надо ему постирать пеленки и сварить кашу.

В белошвейки Танька тоже не вышла. Они обошли с теткой несколько пошивочных мастерских, и всюду девке отказывали. То ли потому, что не внушала доверия ее внешность, то ли по другой какой причине. Танька все время куда-нибудь спешила, а потому, видно, не успевала как следует причесаться. Неаккуратно выглаженную, без верхней пуговицы кофтенку распирала полная, совсем не девчоночья грудь, которой

Танька, говорят, безмерно гордилась. Скуластенькое славянское лицо с маленькими карими припухшими глазами, с прямым конопатым носиком доверчиво улыбалось встречному человеку. Щедрая душа ее была, как говорят, всегда нараспашку.

В руках ее плохо держалась швейная иголка и спадал с толстого пальца короткий наперсток. Может, эти недостатки или какие-то другие помешали ей стать горожанкой и вернули в лоно родной деревни.

Санко знал Таньку с самых ранних лет. Они вместе росли, вместе играли. Вместе ходили на лесные опушки по землянику, решетом и материнкой мутовкой ловили в речушке Кугунерке, что тихо текла по дну Большого оврага, мелкую рыбешку.

И в начальную школу они пошли вместе. Танька училась ни шатко, ни валко. На уроках часто что-нибудь жевала, вызывая неудовольствие учительницы, или же откровенно похрапывала. Уроки она учила неважно, и в классном журнале одна за другой выстраивались отрицательные оценки. Но всем на удивление Таньку аккуратно переводили из класса в класс.

Санку вспомнилось, как в четвертом классе на уроке русского языка Танька до слез насмешила всех, кто писал предложения на доске под диктовку учительницы. Писали по-разному: кто без ошибок, кто с ошибками. Вместе находили и исправляли их. Дошла очередь и до Таньки.

— Зверева, к доске, — сказала учительница.

Танька не спеша, вразвалочку, подошла к доске, кое-как вытерла ее мокрой тряпкой, взяла в руки мел и повернулась лицом к ребятам.

— Предложение такое, Зверева, — сказала учительница. — Слушай внимательно и пиши. — И стала медленно и членораздельно, чуть ли не по слогам, диктовать предложение:

— “У Григория сын Петр”. Поняла? Повторяю. — Учительница несколько раз повторила это короткое предложение.

Танька, загородов спиной классную доску, старательно писала на черной гладкой поверхности то, что говорила учительница. Справившись наконец с работой, она отступила на шаг в сторону.

— Прочитай, Зверева, что написала, — велела учительница.

Танька бойко выпалила: “У Григория сын Петр”.

А в классе уже фыркали нетерпеливые, а кое-кто откровенно смеялся, прочитав написанное на доске.

— Что такое, почему смеетесь? — построжила учительница. — Заметили ошибки в предложении? Кто читает?

Бойкая девчонка из деревни Степинские подняла руку:

— Разрешите мне, Зоя Александровна.

— Пожалуйста, Соломина.

Оля Соломина с выражением, делая ударения на втором и последнем словах, громко прочитала: “У Григория сын Прет”.

Весь класс, около двадцати мальчишек и девчонок, повалились со смеху на парты. Слышалось: “Сын прет”. “Чего он прет-то, Танька, и у кого?” “А у какого Григория? У крутовражского или люенского?”

Развеселый урок прекратил долгожданный звонок на перемену.

В полдень коней выпрягли и поставили в конюшню, чтобы дать отдых и покормить. Да и самим парням пообедать было не грех. Что ни говори, а вспахать сохой полгектара на подзоле дело совсем не простое. Санковы ноги еле донесли до дому. Рука с ложкой дрожала, будто у крепко подвыпившего мужика с похмелья. Усталость угнетала и есть не хотелось. Санко кое-как похлебал пустых ячневых щей, подбеленных вчерашним снятым молоком, и ушел на часок, пока кормят коней, в сени соснуть в пологе.

Время отдыха прошло моментально. Казалось Санку, что он только что закрыл глаза, а надо уже снова ехать на пашню.

Сытые лошади шагали в поле шустрее, в соху впрягались, не капризничая. И снова мельтешила в глазах разрезаемая сохой темная прошлогодняя стерня, поскрипывал от натуги лемех, серебром блестел на заворотах острый нож отреза, будто от каравая отхватывая толстые ломти тяжелой почвы.

День клонился к вечеру. Хорошо отлаженная в кузнице соха шла, будто по маслу. Но соха есть соха, предназначена она для крепких мужских, а не Санковых подростковых рук. Он откровенно устал. В глазах рябило от надоевшей за день картины, руки не чувствовали гладких державок. Соха перестала слушаться парня, и лемех время от времени выскакивал в борозду, пласт отрезался лишь в половину нужного захвата, борозда начинала кривулять из стороны в сторону.

Лысуха тоже поубавила шаг. В конце загона у Большого оврага она вовсе остановилась и вскинула морду к хозяину: мол, не пора ли шабашить? Повернув лошадь в загон, Санко натянул вожжи, снял с головы выдавший виды картуз, смахнул им пот со лба и поглядел по сторонам. Пахари останавливали в борозде коней и выпрягали.

Пора домой. Санко был рад, что день прошел без происшествий. Улыбнувшись, он вспомнил, как на прошлой неделе после завтрака они, юные пахари, сели под березой покурить и крепко заснули, кто где был. Лошади долго стояли с пустыми, надетыми на морду котомками.

Проспали бы парни, наверное, до самого обеда, не заметь беспорядок на пашне колхозный

председатель хромой дядя Иван. Он с трудом перебрался через Большой овраг, по пути выломил в кустах ядреную ивовую вичу и первым огрел ею лежавшего с краю своего сына Гришку. Парень заорал с перепугу благим матом и тем спас приятелей от экзекуции. Второй раз дядя Иван ударить никого уже не сумел: вся орава мигом разбежалась в разные стороны, и поспеть за кем-то хромому было просто не под силу. Председатель долго матерился, в конце концов плюнул и, погрозив мальчишкам кулаком, захромал прочь.

Парни вспоминали этот случай как веселое приключение в их пресной однообразной жизни и при случае от души хохотали над собой. Вечером в конюховке дядя Иван принялся было парней воспитывать, но старый бригадир Силантьич заступился за них, сказав, что норму они выполнили с лихвой и винить, вроде, их нечего. А если уснули, так с кем греха не случается? На том дело и кончилось.

Домой Санко еле приплелся: ноги в отяжелевших лаптях шагали с трудом. Он снял на крыльце фуфайку и, сев на ступеньку, развязал лапотные мочальные веревки, вытряхнул из обуви землю и, пересилив себя, пошел умываться.

Мать хлопотала насчет ужина. Ее, маленькую, рано постаревшую одинокую женщину, тревожили свои немалые заботы, и она считала не лишним оговорить задуманное со старшим сыном. Кроме первейшего дела о куске хлеба насущного для большой семьи, мать обязана была подумывать, как сдать "властям" полпуда топленого коровьего масла, сорок килограммов мяса и семь с половиной десятков куриных яиц. Этот натуральный налог полагалось поставлять приемщикам с каждого крестьянского осырка ежегодно, иначе сказать, с каждого прилегающего к дому участка земли в пятьдесят соток. И неважно, есть ли в хозяйстве корова и другая животина, бегают ли по двору овечки и курчонки. О том, что молоко требуется детям, а также работающим в поле и на ферме людям, заикаться не стоило. Вареным мясом в деревенских избах тоже не пахло. Разве что на Христов день для разговенья отрубят голову переставшей нестись курице.

Сдать без малого полцентнера мяса женщине в одиночку было не в силах. Вот и отправлялся со двора на рынок последний теленок, выручка от продажи которого могла быть предназначена для выплаты сельхозналога, исчислявшегося тысячами рублей.

Санко вполуха слушал, что говорила мать, потому как по молодости лет он еще не проникся чувством ответственности перед, как говорила мать, властями. А власти были неумолимы. Попробуй не рассчитайся в срок по молоку или мясу! Моментально явится в дом ясный сокол в лице уполномоченного наркомзага. Он тут же составит протокол с описью имеющихся в доме цен-

ных вещей в виде старенького медного самовара, зингеровской швейной машинки и даже металлической кровати. Корова или овечка с ягнятами шли в опись в первую очередь.

— Марья Сениха собирается сдавать в заготскот старую корову, — говорит мать, пака Санко есть перловую кашу. — Может, и нам в пай войти? Денег я под займу немного, да своих сколько-то есть: от продажи яиц приезжим выручила. А осенью, как подрастет, телушку нынешнюю продадим. Бог даст, рассчитаемся. С маслом я как-нибудь соберусь и остатки сдам, немного осталось. К осени с властями будем квиты.

Мать, помолчав, взглянула на сына:

— Что молчишь-то, Саня?

— Тебе виднее, мам. Как сделаешь, так и будет. Я на все согласен.

— Ладно, так и порешим, — удовлетворенно кивнула мать. И с сожалением сказала: — А телушку-то ох как жалко продавать, в племя бы ее пустить, хорошая бы корова вышла. Только куда денешься от властей-то? Война, мол, идет. Солдат чем-то кормить, говорят, надо. Оттого и чистого хлеба не видим. Колхоз все, кроме семенного зерна, сдает на ссыпной пункт. А мы-то как, крестьяне-то?

На этот вопрос ответа не находилось.

Поздно вечером, когда Санко собирался лечь в полог, а перед этим вышел во двор покурить, пришла Танька. Сложив пальцы правой руки лодочкой, она подала ему руку и тихо, с городским проносом, сказала:

— Ну так здравствуй, что ли, Саня!

— Здорово, если не шутишь. С чем пожаловала? — грубовато спросил Санко.

— Поговорить бы надо... А ты какой-то невежливый сегодня. Сколько не виделись...

— Мне больно-то некогда с тобой лясы точить. Завтра опять чуть свет вставать да за сохой ходить.

— Не надо, Саня, грубить. Ох, не надо. Авось пригожусь.

Таньку трудно стало узнать. На ней была короткая юбка черного тонкого шевиота, белая ситцевая, без рукавов кофточка и красные с дырочками сверху по пальцам сандалии с медной пряжкой, одетые на босую ногу. Голову ее венчала модная городская прическа, со спущенной на лоб челкой темных волос, падавших на подчерненные, видно, цветным карандашом, узкие, похоже, подбритые брови.

— Что так смотришь на меня, Санечка? — спросила Танька. — То ли не узнал, то ли влюбиться хочешь? Смотри, я измены не вынесу, потому что ты мне тоже не безразличен.

— Чего-чего? — не понял Санко. — В кого влюбиться-то, в тебя, что ли? Ну, рассмешила!

Танька вызывающе встала к парню боком, показав на юбке модный разрез, в котором нахаль-

но виднелась красивая Танькина нога, оголенная до колена.

Санко смутился и громко сказал:

— А шла бы ты!..

— Не сердись, Саня. Я ведь не злить тебя пришла, а по делу.

— По делу? Какому еще?

Танька с минуту помолчала и тихо сказала:

— Давай дружить, Саня.

— Как это — дружить?

— Ну, гулять вместе. На вечерки ходить. Чтобы ты провожал меня домой, как делают больше парни и девки. Чем плохо?

Санко ничего на это ответить не мог. Его такая сторона Танькиной проблемы пока мало интересовала. И он сказал:

— Давай-ка, Танька, закончим этот интересный разговор. Мне ведь и правда, как тому петуху, пора на наседа.

Танька, недовольно хмыкнула, подошла к парню вплотную и нахально спросила:

— А поцеловать молодую девку не хочешь?

И присев на корточки, положила обе руки сидящему на нижней ступеньке крыльца Санку на плечи.

Не ожидая такого поворота, Санко как ужаленный пружиной вскочил на ноги и ненароком ударил Таньку локтем в грудь. Крепко обидевшись на грубого парня, она круто повернулась и медленно, раскачиваясь, пошла со двора.

Санко долго не мог уснуть, мысленно повторяя глупые Танькины слова. “Чего это она, спятила, что ли? — думал Санко. — А может, в городе так и делают? Лапают парни девок до свадьбы? Ну Танька, ох глупая Танька! Достукаешься ты, того гляди, наскочишь на какого-нибудь прохиндея, он тебе покажет Кузькину мать.

На дворе занимался рассвет. По Большому оврагу плотно расстился густой туман, заполняя его необъятное нутро, будто парным молоком. В ветвях старого прибрежного осокоря чивиркали уже невидимые птахи, возвещая скорый восход солнца.

А Санко еще сладко спал, продолжая спорить и бороться с нахальной Танькой. Вот Танька крепко обняла его и все пыталась поцеловать в губы. Санко, как мог, увертывался. Наконец, уловив момент, Танька уронила его навзничь, навалилась мягкой теплой грудью ему на грудь и стала искать своими горячими губами его грубые, потрескавшиеся на вольном ветру губы.

“Да что же ты делаешь, чертова кукла? — закричал Санко. — Спятила, что ли? Уходи отседо-ва!”

Пытаясь сбросить с себя настырную девку, Санко проснулся.

Мать, брэнча подойником, пошла доить корову.

II.

...Огонь разгорался все сильнее, пламя захватило уже полгоризонта. Сначала горел валежник и старые сучья на вырубленных делянках. Но вот огонь подбирается все ближе к Санковой упряжке, и лошадь беспокойно стрижет ушами. Молоденькие смолистые елочки и пихты воспламенились мгновенно и горят будто факелы, обжигая Санково лицо, руки и бока. Парню хотелось закричать, но рот почему-то не раскрывался, и звук замирал в глубине гортани. Он пытался убежать от охватывающего все тело огня, но ноги не слушались. “Что же это такое? — думал Санко. — Так, не сходя с места, можно погибнуть? А мать, а братишки?” И он, сколько было сил, закричал: “Мама! Помоги, горю ведь я!”

И очнулся. Все лицо и руки были в обильном поту, а тело жгло, будто и вправду находился он в самой близи от бушующего пламени. Особенно жгло правый бок, на котором лежал. Испуганно обшарив себя дрожащими от страха руками, он обнаружил под собой жесткие горячие кирпичи хорошо натопленной русской печи.

— Где это я? Как попал на печь-то? О, Господи! — взмолился он. — Помоги мне, грешному, выйти на волю подышать свежим воздухом!

Его тошнило, горячая мокрая голова, будто чугунок с только что сваренной в печи картошкой, не поднималась с подложенного под нее какого-то тряпья. Парень хотел подняться и сесть, но это ему не удалось. Он почувствовал себя кем-то прижатым к струганой бревенчатой стене. Вокруг густела крошечная тьма и кто-то громко храпел. Санко понял, что тут кто-то спит. Он протянул руку в сторону храпа и потряс соседа за плечо. Тот долго не подавал признаков жизни, однако храпеть перестал. Наконец человек заворочался и громко, со стоном позевнул. Потом сел. Дышать Санку сразу стало легче.

— Что, очухался? — спросил низкий и густой, сильно простуженный голос. И Санко догадался, что это Пал Ваныч, беспалый пожилой мужик из их деревни, с которым они продавали в Шахунье колхозную муку. — Я грешным делом, подумал, что ты концы отдашь. Прытко боялся волков в большом николаевском лесу. Ох и напужал ты меня, Санко, ох напужал! Век не забуду, как ехали двумя подводами с тобой со станции порожняком. Помнишь ли что-нибудь?

Санко не помнил. До него только сейчас дошло, что позавчера они, нагрузив на мельнице до отказа сани мешками с мукой, выехали еще до свету из деревни. Покормив в дороге коней, около полудня следующего дня они были уже в Шахунье. Торговля пошла бойко, и за каких-то пару часов продали всю муку. Пал Ваныч еле успевал считать и складывать за пазуху деньги.

Переночевали они в поселке Кирпичного завода, километрах в трех от станции, у знакомого Пал Ванычу мужика в столярке, на ворохе стружек. Помещение на две трети было заставлено березовыми болванками, заготовками для винтовочных и автоматных прикладов. Где-то далеко на Западе шла большая война, и лесная нижегородская сторона помогала ей, чем могла.

Выехали они из поселка ядреным морозным утром, предварительно позавтракав промерзшим в котомках хлебом, испеченным хозяйкой Пал Ваныча из чистой ржаной муки на дорогу.

Тут вот все и началось.

— Постой-ка, парень. Надо погреться чуток, — сказал Пал Ваныч и достал из пустого мешка, где лежал хлебный припас, сиреневатую просургученную в конце горлышка поллитровку, запасливо купленную еще дома в сельповской лавке. — А то ведь дорога долгая, а мороз на улице — сам знаешь — свирепый.

Санко никогда до этого водки не пивал. В доме ее не держали — не для кого было. Постеснявшись отказаться, Санко взял в озябшие руки чуть не доверху налитую эмалированную белую кружку и поднес ее ко рту. В нос ударило чем-то жгуче-противным, пакостным, и парня чуть не затошнило.

— Я не хочу, дядя Паля. Сорвет ведь меня, — сказал Санко.

— Тоже мне герой. Скоро в армию возьмут. А там солдатам с устатку это положено. Сто грамм наркомовских. Дай-кося я.

Пал Ваныч взял из парнячьих рук кружку и, сказав: благослови, Христос, опрокинул водочную жидкость в свой развернутый, лохматый от бороды и усов, большой рот. С удовольствием крякнув и понюхав мерзлую корку хлеба, он принялся за еду.

Санко внимательно глядел на старшего сотоварища и думал: "Вот это да! Не каждый так сумеет". И тоже принялся за мерзлую, чуть подогретую у железной печки, горбушку хлеба.

— Сухая корка рот дерет, — переиначив словицу, сказал Пал Ваныч. — На-ко все-таки выпей, — и налил в кружку добрую половину хмельной жидкости. — Да не нюхай ты ее, поганую, не нюхай! — сердито сказал он парню. — Она нос воротит, а душу согревает.

Санко закрыл глаза, затаил дыхание и начал глотать поганое пойло. Водка не пошла, он закашлялся. Передохнув, вылил остатки зелья в свой опоганившийся рот.

Вначале Санко ничего не понял. Холодная жидкость ничем себя ни проявила. Лишь через несколько минут в желудке почему-то зажегся теплый огонек, потом и на душе стало светло и покойно.

Пал Ваныч налил себе еще, выпил и остатки

выплеснул из бутылки в Санкову кружку.

Он больше не отказывался.

— Ты вот чего, Саня, послушай-ка, что скажу, — начал Пал Ваныч нелегкий для себя разговор, когда они поели. — Водка-то знаешь, денег стоит. И больших. Придется в конторе сказать, что муку продали подешевле, чем на самом деле. У меня еще вот бутылка есть. Ее потом выпьем, когда коней станем кормить.

Санку было уже все равно, хмель его начал развозить. Ему стало жарко, сильно захотелось спать. Он слабо махнул уже не совсем владеющей рукой и сказал в ответ:

— Старшой-то ты, дядя Паля. Тебе виднее, делай, как знаешь.

— Вот и ладненько, — сказал Пал Ваныч. И видя, что Санко почти спит, пошел запрягать лошадей.

Полусонного Санка он завернул в тулуп, посадил на сено в передок и привязал за плечи к облучку саней запасным ремненным чересседельником.

Так и поехали: Пал Ваныч на Воронке впереди, Санко на своей Лысухе следом. Ехали не час и не два. Оба, угревшись в добротных тулупах, заснули. Сани кидало на раскатах вправо и влево, умные кони замедляли ненадолго шаг и снова начинали трусить понемногу. Скоро должно было показаться Тырышкино.

Наконец Воронко остановился. Пал Ваныч проснулся и оглянулся назад. Лысухи за его санными не было.

— "Это еще что? — не на шутку струхнул Пал Ваныч. — Куда кобыла-то делась? Уж не волки ли?"

Хмель из головы у мужика вымело, будто помелом из печи. Он тут же повернул жеребца и рысью погнал его обратной дорогой.

Вскоре лошадь нашлась. Она стояла посреди дороги цела и невредима, как вкопанная. На сердце у мужика отлегло, и он, матерясь, пошел к Санковым саням, но в них никого не оказалось. Осмотрев все вокруг, Пал Ваныч обнаружил парня далеко под откосом высокой дороги. Он лежал кверху лицом и, как младенец, безмятежно спал.

— Как его, подлеца, доставать-то оттуда? — матерился Пал Ваныч. — На горбу ведь не вытащишь!

В конце концов его осенило. Сняв со своего коня вожжи и сбросив с плеча тулуп, он по поясу в снегу пробрался кое-как к лежащему, мертвецки пьяному парню и обвязал его вожжами под мышками. Умная Лысуха, будто жалея своего хозяина, медленно выволокла его из-под крутого откоса.

Пал Ваныч с грехом пополам водворил Санка снова в передок саней, покрепче снова привязал

его. Парень не произнес ни слова, только помычал, как теленок, когда водворяли его в нутро саней.

Так и поехали. В непредвиденных хлопотах прошел весь короткий зимний день. Впереди за поворотом маняще засверкали огоньки. Приближалось село, обещая долгожданное тепло и какой ни есть ужин.

... Первой в избе поднялась с постели хозяйка. Она вздула маленький пузырек-ночник, заправленный керосином, и поставила его в передней большой комнате на стол. Маленький фитилек тускло осветил комнату. Захлопала дверь, один за другим стали выходить во двор мужики поить коней.

На лавках и на полу избы вповалку лежали люди. Санко разглядел, что главным образом тут спали женщины с детьми.

Из то и дело открывающихся дверей морозом забрасывало в избу холодный воздух из сеней.

Санко слез с печи, вышел на улицу и протер лицо жестким студеным снегом. Немного полегчало, боль в голове поутихла. Только в желудке ощущалась какая-то неприятная тяжесть и снова хотелось блевать.

— Пошли в избу, — сказал Пал Ваныч. — Погреем брюхо кипятком. Хозяйка, поди, постаралась.

За завтраком Пал Ваныч снова достал непочатую бутылку водки и вчерашнюю эмалированную кружку. Первому он опять поднес Санку.

— Не хочу я, дядя Паля. Убери эту пакость! — взмолился Санко. — А то ведь до дому не доедем, замерзну я где-нибудь.

— Ну, как хочешь. Охота, говорят, пуше неволи. А я для сугрева души выпью. — И он с удовольствием опустошил полную кружку крепчайшей вонючей влаги.

После завтрака засобирались в путь. И первыми выехали с порожними санями со двора.

У ворот их остановила закутанная в толстый шерстяной полушалок в крупную клетку немолодая женщина и представилась:

— Эвакуированные мы, из Новгорода, в Кикнур вот едем. Может, подвезете?

Пал Ваныч нехотя спросил:

— А сколько вас, ездовых-то?

— Я вот с дочерью да товарка моя с мальчиком. А всех-то в избе много.

— Давай посадим, дядь Паля, — вмешался в разговор Санко. — Порожняком ведь поедем.

— А сколько заплатите-то? — спросил Пал Ваныч женщину.

— Да ты что, дядя Паля! Какие у них деньги? С войны ведь едут они!

— С войны-то с войны, — не сдавался Пал Ваныч. — А порядок есть порядок.

— Пошли ко мне в сани, — обратился Санко к женщине. — Сани у меня пустые и места хватит.

Из села выехали уже засветло. В Санковых санях хорошо поместились та пожилая женщина, что подходила к ним с Пал Ванычем утром, и ее дочь, шупленькая девчонка, похоже, Санкова сверстница. Закутанная с ног до головы в байковое синее одеяло, она сидела напротив парня и внимательно разглядывала его одним левым глазом, который зорко поглядывал на свет Божий из-под окутки.

Пал Ваныч, боясь поссориться с Санком, тоже посадил двоих. Лысуха, догадавшись, что путь лежит в ее родную деревню, в теплую конюшню с полной колодой овсянки, сдобренной хлебной посыпкой, шустро вертела хвостом и ходко тащила сани с нетяжкой поклажей. Весело поскрипывали полозья по укатанному мерзлomu снегу.

Санко от нечего делать помахивал на Лысуху вожжами и полишку пристально глядел по сторонам, боясь встретиться взглядом с рядом сидящей девчонкой.

— А почему это мы не познакомимся? — будто кого-то спросила пожилая женщина. — Меня зовут Мария Ивановна. Можно просто — тетя Маша. А дочь мою Катериной кличут. Катей. А тебя как зовут, молодой человек?

— Меня-то? — замялся парень, будто спрашивали кого-то другого. — Меня Санком зовут.

— Александром, значит? — уточнила женщина. Санко кивнул головой в знак согласия.

— А можно я буду Сашей тебя называть? — спросила девушка.

— Можно, почему нельзя? Можно и горшком назвать, только в печь меня ставить не надо, — сострил Санко.

Катя рассмеялась:

— Тебя в печку-то не вдруг запихнешь. Большой очень.

Помолчали.

— Скажи-ка, Саша, а молодежь в вашей деревне имеется? — спросила девушка. И не дожидаясь ответа, снова рассмеялась — Имеется или нет?

Саша опять кивнул головой.

— И все такие же, как ты, неразговорчивые? — наступала Катя.

— Ну и болтушка, — подумал Санко. — Не успела в сани сесть, как все ей знать надо.

— Есть и говоруны, — сказал он уже вслух, — только больше такие же, как я, недоростки. Которых постарше парней — всех на войну взяли. Всех заскребли, — повторил Санко.

— Чем заскребли-то? — улыбнулась Катя. — Не лопатой?

— Катя, не озорничай, — погрозила мать девушке варешкой. — Вот, кажется, и подъезжаем, — сказала она. — А деревня у вас что надо,

народу, видать, много.

— Вези нас, Александр, к колхозной конторе. Там и определят на постой к кому-нибудь. Может, и работу какую подсказут.

— Работу обязательно дадут, — пообещал Санко. — Людей у нас не больно хватает.

Марию Ивановну направили на жительство в тетке Анне Жуковой, которая жила почти на самом конце деревни с сыном-подростком Егоркой. Изба у тетки Анны была большая и самая удобная: в кути имелась маленькая без окна комната, где стояла небольшая деревянная кровать. Угол этот оказался как никогда кстати для небольшой семьи из двух женщин.

Санко подвез их к самому дому. Тетка Анна гостей уже поджидала. Проводив женщин в избу и кое о чем распорядившись, она отправилась в огород топить баню. Санко потоптался немного у саней и повернул от ворот Лысуху, чтобы поставить ее на конный двор.

Катя в одном легком ситцевом халатике выскочила на улицу:

— Заходи погреться, Саша! Мама зачем-то зовет, — сказала девушка.

— Сама-то замерзнешь, пигалица, — грубовато сказал Санко. — Погляди, почти голая совсем на таком морозе! Я лучше вечером зайду, если можно.

— Можно, можно, приходи! — снова пригласила Катя. — Будем ждать.

Санко успел разглядеть раздетую девушку. Была она птичка-невеличка и, наверное (парень невольно сравнил), вдвое тоньше Таньки. Короткий ситцевый еле застегнутый халатик едва закрывал маленькие, с детский кулачок, груди и красивые смуглые коленки. Мальчишечье задиристое личико ее с курносом носом, с опускающимися на лоб и виски кудряшками, выражало печать жизнерадостности. Большие голубые глаза с длинными темными, под цвет волос, ресницами, смотрели на белый свет широко распахнуто, как бы говоря: а вот мы какие! От всей ее маленькой фигуры, будто навевало необъяснимым светом и теплом, и Санко через силу отвел взгляд от убегающей в избу девчонки.

Вечером он долго умывался и прихорашивался перед старым, с большими трещинами, зеркалом. Намочив вихры теплой водой, причесал их гребенкой, торчащие непокорные клочья волос напрочь остриг. И надел красную сатиновую рубаху в белый горошек. Обулся в белые чесанки с калошами.

— Ты куда это, парень, на ночь глядя собрался? — спросила мать.

— Мам, он девку из города привез, наверное, к ней лыжи наострил, — поспешил сообщить новость всезнающий Колька.

Санко дал ему добрую затрещину и вышел прочь.

Мать улыбнулась вслед и подумала: “Вырос ведь Санко, совсем большой стал... Эх, посмотрел бы на сына отец”, — глубоко вздохнула уставшая женщина, в одиночку ломающая все путы военного времени. Нет, не увидит отец Санка, он сложил голову в первый год войны под Москвой.

Санко пришел в гости не совсем кстати. Тетка Анна и ее новые постояльцы, видно, только что пришли из бани и пили чай с медом, добытым из подполья по случаю гостей. Егорки дома не было.

— Проходи, Санко, садись с нами за стол, — пригласила тетка Анна.

— Не-а, я не хочу, — сказал он. — Поужинал уже, — и тихо сел в кути на конец широкой некрашенной лавки.

А Мария Ивановна продолжала, похоже, уже давно начатый рассказ.

— Вот я и говорю. Вывезли нас сначала в Калининскую область. Думали, война сюда не придет. А она пожаловала. Немцы подошли почти вплотную к селу, где мы жили. Пришлось убираться. Пешком дошли с Катей чуть не до самой Москвы. Немец и сюда стал подбираться. Добрые люди посоветовали двигаться дальше на восток. Вот мы и у вас.

Мария Ивановна отхлебнула из блюдечка и повела речь дальше.

— Барахлишко, какое прихватили из дома, дорогой почти все продали. Как теперь жить будем, не знаю. Надо на работу устраиваться, для начала колхоз, может, пособит.

Тетка Анна спросила, о том, чем занималась приезжая раньше.

Мария Ивановна сказала просто:

— Нет, я не белоручка какая. В Новгород из деревни еще девушкой перебралась. Вышла замуж. Работала на заводе. Последние годы вахтером в своем большом доме была, а Катя училась в железнодорожном училище, хотела проводником вагона стать. Да не довелось вот.

Женщины повздыхали, молча стали выходить из-за стола. Тетка Анна принялась убирать посуду. Катя вызвалась помыть чашки. Хозяйка ее отстранила:

— Отдыхай-ка с дороги-то, намерзлась, поди. Смотри, руки-то покраснели, как у гуся лапы. Полезай-ка вот на печь.

Поговорить Санку с Катей так и не пришлось. Мария Ивановна и вправду потащилась на печку погреть старые кости. Вслед за нею убралась туда и дочка.

— Ты уж не серчай, Саша, — сказала она просительно. — После чаю так спать захотелось...

Санко увиделся с Катей только через неделю. Марию Ивановну бригадир Силантыч определил в помощники к фермянкам — носить воду из колодца, топить котлы и варить в них коровам

картошку. Катю по молодости лет конкретно никуда не приставил. "Когда понадобится, позовем", — сказал он.

В тот день парней послали возить с поля из копен ржаные снопы для обмолота. Подкидывать их на воза бригадир подобрал несколько девчонок, среди них была и Катя.

Увидев Санку, она заметно оживилась и направилась к нему.

— Возьмешь меня в помощники? — спросила девушка.

Польщенный Санко широко развел в стороны руки и весело сказал: — Поехали! — и хлестнул вожжами Лысуху. Она резко взяла с места, и Катя едва успела плюхнуться на брошенную в сани солому.

Одета она была сегодня не по-городскому. На плечи она накинула чей-то старенький ватник, на ногах красовались Егоркины крепко поношенные ватные штаны и его же подшитые, далеко не новые, какие-то пегие валенки. Голову покрывал тоже кем-то подаренный новоселам выдавший виды шерстяной полушалок. Довольная тем, что вот и она пригодилась в деревне, девушка от души смеялась, показывая близко сидящему парню свои красивые перламутровые зубы.

Очарованный Санко откровенно любовался девушкой и, улыбаясь, молчал. Катя смутилась:

— Что ты так пристально смотришь на меня, Саша? Глазам не больно?

Санко отвел взгляд...

Воз снопов они сложили скорехонько. Катя стояла на верху копны и, как настоящая колхозница, маленькими двурогими вилашками кидала на сани увесистые, кое-где уже тронутые мышами, длинные слежавшиеся снопы.

Санко попросил Катю перебраться с копны на сани, подал ей бастриг и, зацепив его от передка саней веревкой, велел навалиться всей силой на березовую жердь, а сам, захлестнув задний его конец другой веревкой, крепко стянул ее и привязал.

Они благополучно привезли снопы на ладонь, где выла и гудела барабанная молотилка на конной тяге, и стали разгружаться.

И тут их поджидал сюрприз. Опоздавшая на работу Танька подлетела к Санковому возу и зашумела во всю ивановскую:

— Что ты это делаешь со мной, Санечка? Не успел полюбить, как другую нашел? Городская послаще, что ли? Ах Санко, Санко! Как ты обидел меня, как обидел!

Санко покраснел до корней волос и закрыл от стыда лицо ладонью.

— Что ты мелешь-то, дурья голова? — только и сумел сказать он. — О какой ты любви говоришь? Зачем все выдумываешь?

— Разве не обнимал меня, не целовал? — кри-

чала Танька. — Успел все забыть, подержавшись за городскую юбку?

Катя, широко раскрыв глаза, невольно взирала на разъяренную девку. И когда Танька дошла до оскорблений, девушка, опустив голову, будто в чем-то и вправду провинилась, медленно загребая носками больших валенок грязный снег, пошла вон от людей, с которыми она впервые сегодня встретилась. Из глаз ее тихо капали жгучие слезы.

"Что подумают обо мне? Что подумают? — говорила себе Катя. — Выходит, у Саши с этой девушкой что-то было? А я-то думала..."

Подобрав вожжи, Санко сердито хлестнул Лысуху по боку и рысью вылетел с санями в поле, к разобранной копне.

— А меня-то возьми с собой, Санко! Меня-то возьми! — кричала вслед Танька.

— Пошла ты к чертям собачьим! — крикнул ей, обернувшись, разгневанный Санко. — Дура лешачья, спятила совсем. Целовал я ее, обнимал? Тьфу ты, врань поскудная!

III.

В будничных хлопотах прошла жгучая морозная зима. Минули заполненные до отказа работы весна и лето. И снова ступила на порог осень — грязная промозглая пора. Парнишки от безделья все ночи дулись в досмерти прокуренной конюховке в двадцать одно. Играли по пятаку за ставку или тогда на дефицитные, как теперь говорят, спички. Санко приносил иногда этих спичек полный картуз.

Мать ахала и ругалась:

— А ну, как продумешься, где денег-то возьмем? У нас, бывало, подвыпившие мужики коней проигрывали вместе с санями.

— Не тужи, мама, лошади-то нет у нас и с ней тоже. А Лысуха, она колхозная.

Мать сердито отмахивалась в ответ и уходила вершить свои бесконечные дела.

В эту слякотную осень, где-то в конце октября, Санку и его другу Вите Мишину, с которым в прошлом 42-м году больше полгода тянули они впроголодь лямку в школе фабрично-заводского обучения под Свердловском, принесли повестку из райвоенкомата. В ней предписывалось: такого-то числа явиться на призывную комиссию. Обоих признали годными к военной службе и сказали:

— Ждите отправки. Приготовьте сухарей, кружку, ложку и пару белья. Когда выезжать? В самое ближайшее время.

Парни гуляли дома последнюю неделю. Ходили по деревне, пели под гармонь озорные частушки. Шлялись по вечеринкам в соседние селения.

В тот вечер кушнурские парни пригласили их к себе в гости. Народу в деревне собралось туда идти много, человек с десятка: и девки, и парнишки.

Санко еще днем повидался с Катей и уговорил ее прогуляться в соседнюю недалекую деревню. Ей и хотелось увидеть, как гуляет сельская молодежь, и боязно было встречаться со скандальной Танькой. После той заварухи на ладони, когда они с Санком возили мерзлые ржаные снопы для обмолота, Катя не раз встречалась на работе с занозистой и ревливой Таней. Но Бог миловал, Таня шума больше не поднимала. Зло зыркнув при встрече на соперницу глазами, она круто поворачивалась и отходила в сторону. Да и Санко строго предупредил ее: если повторит она свою злую выходку, он непременно ее поколотит.

— Таньки не бойся, — сказал Санко девушке. — Она по каким-то делам в Яранск ушла. Не помешает нам...

Гурьбой собрались у деревенского проулка, где проходила по гати дорога на Кушнур. Студеный пруд при яркой луне свинцово отсвечивал своей темной зеркальной поверхностью. Где-то кричала заблудившаяся утка.

Пошли не по грязной прямой дороге, а по берегу Большого оврага, заросшего по краям корявыми елками и мелким сучковатым пихтачем. Санко вспомнил, как совсем недавно, во время уборки, они подрывали в стене оврага норы, жгли тут старые смолистые сучья и пекли картошку. Вкусную, рассыпчатую, обжигающую язык и губы.

Санко шел рядом с Катей. Они тихо беседовали о чем-то своем, только им интересном, не видя и не слыша идущей впереди молодежи.

Вдруг в нескольких метрах идущие от них замешкались. Девчонки завизжали:

— Смотрите-ка, что-то впереди горит! — крикнула одна из них.

— Искры в стороны летят. Кто-то там есть! Смотрите, голова вон торчит, — сказала другая.

— Ой, девчонки, да это ведь дезертир сидит, картошку печет! — запаниковала третья.

Стало как-то не по себе и парням. Санко, оставив Катю с девчонками, вместе с друзьями пошел вперед. Двигались они медленно, на ощупь. Луна закатилась за облака, и ничего не было видно. А костер-то угасал, то на ветру воспламенялся вновь, освечивая ближние кусты, деревья и рядом стоящий высокий пенек.

— Да ведь это старый еловый пень горит! — удивленно крикнул Витя Мишин, первым подошедший к тлеющему осмолку. — А мы-то думали...

Смеялись над собой до самой деревни, подтрунивая друг над другом.

Кате очень понравилось на вечеринке. Большая изба без двора была полна народу. Парни

сидели у девок на коленях. Тускло освещала избу подвешенная к потолку десятилинейная керосиновая лампа. Играли две голосистые хроматические гармони, и две группы парней из разных деревень орали всяк свои частушки. Песенки были самые разные: про любовь и про измену, про соперницу подружку, про зазнайку гармониста, у которого сбоку поварешка, и не быть б ему на славе, если б не гармошка. А в общем-то трудно было разобрать, кто что кричит на разные голоса.

Потом гармошки замолкали и начинались игры и танцы. Парень приглашал понравившуюся девушку в круг, танцевал с нею, пока кто-нибудь не подхватывал ее и не отводил в сторону, тоже приглашая потанцевать. Несколько пар ушли, чтобы уединиться в соседнем слабо освещенном доме. Это называлось "посидеть парочкой", поговорить с зазновой, и тем, кто находил себе "посидеть" девушку, мальчишки завидовали.

Гармони вскоре снова взрывались, и на всю избу, до дрожи в оконных рамах, бушевала сербиянка. И вот уже кто-то из парней посмелее выходил на середину раздавшегося вириль круга, сыпал сапогами дробь по грязному полу и вызывал на соревнование первую попавшуюся девушку. Та за неумением увертывалась, кавалер разыскивал другую, посмелее, и так продолжалось без конца.

Не раз приглашали в круг несмелую в многолюдье Катю. Она отплясывала хорошо, а, оправившись от смущения, войдя в задор, выделяла ногами такие коленца, что вокруг только ахали от удивления.

— Чья это такая? — громче всех кричал Ленко — хулиганистый парень из деревни Быковские. — Отобью! Моя будет.

Катя смущенно уходила из круга и пряталась за Санкову спину.

Санко плясать не умел, старался стать где-нибудь у стены, поближе к двери, и оттуда наблюдал за весельем.

— А ты что, Саша, в стороне стоишь? — спрашивала Катя. Санко смущенно кашлял в кулак и отмалчивался.

Ушли они с вечеринки раньше других. Вдвоем. Им никто не мешал говорить, о чем хотелось. Незаметно добрались они до напугавшего девок горевшего давеча гнилого елового пенька. Пенек уже погас, только еще тянуло от него по ветру горьким сизым дымом, спускающимся с обрыва вниз, на дно Большого оврага. Спроси, о чем говорили, вряд ли что могли бы они ответить. Санко едва пересиливал себя, чтобы не сказать Кате, что он ее любит. Любит всей молодой душой с того самого дня, как встретил ее у ворот тырышкинской постоялой избы, когда ездили с Пал Ванычем в Шахунью продавать муку.

Шли они взявшись за руки, ничего не видя

вокруг себя. Ни освещенных луной хвойных лапок на еле заметной тропинке, задевающих за ноги, ни Большого оврага, ни густо стоящих в поле больших скирд клеверного, почерневшего под дождем сена. Во всем большом подлунном мире они были только вдвоем, и ничто их больше не интересовало. О сокровенном говорить стеснялись. И только руки, жаркие, юные руки, говорили их влюбленным сердцам больше, чем за всю дорогу сказанные слова.

К Катиному дому подошли поздней ночью. Санко взял в свои горячие руки обе Катины озябшие без варежек ладошки, погрел их дыханием и сказал:

— Послезавтра отправляемся мы с Витькой в армию. Мама прощальный стол собирает. Может, придешь напоследок, Катерина?

Он впервые назвал ее полным именем, а почему, объяснить бы не смог.

— Приду, Саша, обязательно приду, — не стала ломаться девушка. Она тихо вздохнула, и неловко ткнувшись холодным носом куда-то Санку в подбородок, скрылась в рубленых хозяйкиных сенях.

Санко сиял от счастья.

Мать пригласила на проводы несколько женщин-солдаток, своих близких товарок. Пришли Санковы друзья. После всех пришла и Катя. Она робко стояла у порога и сквозь сумеречье ненастного осеннего дня пыталась разглядеть сидевших за столом. Таньки здесь не было (ее никто не приглашал), и Катя с облегчением вздохнула.

Выглянувшая из упечи мать приветливо пригласила девушку к столу. Поднялся с лавки и Санко. Ее посадили на свободное место рядом с соседской девчушкой Зоей.

Матери девушка нравилась. Катя всегда была приветлива при встречах, первой здоровалась со старшими. Соседки хвалили ее и на работе. Повидавшая в жизни немало лиха, мать не могла пожелать Санку ничего лучшего, кроме этой скромной маленькой девушки, ветром войны заброшенной в их деревню.

Сидели за столом допоздна. Материны подружки наказывали Санку беречь себя, не лезть сломя голову под пули. Велели слушаться командиров, служить на совесть. Санко согласно кивал им головой, обещал обязательно выполнить их указы.

Катя отыскивала парня глазами и стала подниматься из-за стола. Санко помог девушке одеться и вышел проводить ее во двор.

— Желаю тебе, Саша, всего самого-самого хорошего, — тихо промолвила девушка. — Береги себя, возвращайся живым и здоровым!

Помолчав несколько секунд, Катя обвила руками Санкову шею и неумело поцеловала его в губы.

Санко обнял девушку за плечи и долго не отпускал ее из объятий.

— Пора, Саша, прощаться, — сказала Катя. — Это вот платок тебе на память. Сама вышила. Береги его, он сохранит тебя, если будешь меня помнить на жестокой войне. А провожать тебя завтра я не приду. Ты уж не сердись. Боюсь нового Таниного скандала.

Санко задержал Катину руку в своей и тихо спросил:

— Будешь ли ждать меня, Катерина? — опять назвал Санко девушку полным именем. — Не знаю, как и жить я стану без тебя...

Катя еще раз крепко поцеловала парня и сказала:

— Пожалуйста, не переживай. Пиши почаще письма, ладно?

Санко последний раз обнял девушку и крепко пожал ей обе руки.

— Сама-то пиши, не забывай!

В сенцах послышался говор выходящих из избы женщин, и Катя неслышно ушла в темноту дождливой осенней ночи.

Парней провожала за околицу вся деревня. Вдовы-солдатки громко плакали. Всхлипывали девчонки-сверстницы.

— Куда хоть таких ребятенков берут-то? — причитала Марья Сениха. — Ведь по семнадцати им лет всего! Ухлопают несмышленных малолеток, как и наших мужиков. Ох, горе-горькое, война проклятушая!

Перед выходом из родной избы мать попросила Санка задержаться. Когда все посторонние вышли, достала с божницы икону Николая чудотворца и благословила сына на ратные дела.

— Поцелуй икону-то, — подсказала бабушка Настасья. — Да и с матерью родимой простись.

Мать трижды перекрестила сына, он обнял ее худенькие плечи и едва сдержал себя, чтобы не разреветься. Так жалко было оставлять ее одну с тремя малыми ребятишками. Потом он поклонился бабушке, обнял братишек и, взяв котомку, собрался на улицу.

— Давайте посидим перед дальней дорогой, — сказала бабушка Настасья.

Все сели на лавки.

— Ну, в добрый путь, сынок! Да сохранит тебя Господь! — мать в голос заплакала.

За деревней подошла к парню Таня и занозисто спросила:

— Что нос-то воротишь? Зазнался, городскую нашел? Увильнет твоя городская красавица, вот увидишь. Дай только войне кончиться!

Подвода медленно тронулась. Санко, обняв Витю Мишина, сделал первый шаг. Путь лежал к Потняку и дальше в сторону Кикнура и Шахуньи, где их ждал уже, наверное, насквозь промерзший телячий вагон, в котором помчатся рекрута в одну из сторон необъятной России.

На Запад — в ненасытную мясорубку беспрерывных боев или на затаившийся пока Дальний

Восток.

Прошли за возом почти с полверсты. И тут Санко услышал тоскующий Танин голос:

— Я приеду к тебе, Санко, так и знай! Обязательно проеду!

Санко оглянулся. За поворотом дороги одиноко стояла Таня и печально махала белым вышитым платком, который хотела подарить ему, да ревниво передумала.

* * *

Ах, Таня, Таня! Ведаешь ли ты, что говоришь? Знаешь ли, что находится там, за дальним гори-

зонтом? Санко ждала впереди молниеносно-победоносная большая война 1945 года с Японией, унесшая многие тысячи молодых жизней, и почти восемь лет срочно-бессрочной воинской службы в Приморье, в Манчжурии и Северной Корее, на Южном Сахалине.

Санка сегодня мало волновали Танины печали. У него были свои. А на первом месте стояла чуждальня маленькая девушка по имени Катя.

Дождешь ли ты, Екатерина, Александра?

У кого узнать, кого спросить? Знать это никому не дано.

Ноябрь 1995 г.

Любавина осень

*Ах, война, война, война,
Что наделала она!
Я и лошадь, я и бык,
Я и баба, и мужик.*

*Частушка времен
Великой Отечественной войны.*

I.

Мелкий надоедливый* дождь шел уже больше недели. Шел споро, водянисто, заполнив в деревне какие только можно колдобины и ямы. И чтобы сходить теперь проведать соседку в рядом стоящей избенке, бабушке Любаве приходилось надевать на ноги старые резиновые бахилы с обрезанными до колен голенищами, вооружаться большим — в добрый кол к плетню — сучковатым еловым батогом и пробираться, будто через болото, вдоль замшелой избяной стены, целясь ногой в брошенные по грязи коряжистые поленья, которые не пролазили в печное нутро. Старые, согнутые ревматизмом, ноги не слушались, соскальзывали в воду, и надо было приложить немало усилий, чтобы не растянуться пластом в сплошной луже, разлившейся чуть ли не во всю деревню. Нет, не в болоте стояла деревня, и в далекие годы, когда живы еще были оставшиеся после кровавой большой войны мужики, обихаживали ее селяне: каждую весну конским плугом подновляли осыпавшиеся канавы, садили в палисадниках под окнами на радость детям огнистые рябины, кучерявые черемухи и даже саженцы устойчивых в наших местах к суровым холодам сортов яблони.

Давно это случилось. Люба была тогда молодой и красивой. Да и осенняя непогода в ту пору

казалась не такой уж продолжительной и холодной. А сегодня? Льет и льет. Мелкий дождишко вдруг перейдет в ливень, и нет тому конца и края. Да и то сказать: перевалила уже осень на октябрь. Скоро Покров, и в народе об этой поре когда-то говаривали: накроет Покров землю снежком, а девушку женишком.

Иногда дождь ненадолго переставал, небо немного светлело, изредка проглядывало сквозь туманную изморось тусклое солнышко. Любава садилась тогда к щелястому, промытому дождем, окну и любовалась давно поднадоевшей уже деревенской картиной. По ту сторону сплошной лужи, чуть на взгорке, виднелся покосившийся на один угол домишко бабушки Лукерьи — повитухи и деревенской целительны, давнишней Любавиной приятельницы. Соседки в своем окне что-то не было сегодня видно, поговорить через улицу не придется, и бабушка Любава, найдя у порога свои бахилы, решила проведать подружку. Их, старых женщин, осталось на большую деревню всего три, потому они старались не забывать друг о друге.

Рядом, по правую руку от Любавиной хибары, жила другая ее подружка, кума Маня, в молодости славная певунья и плясунья, по которой сохли деревенские кавалеры. Теперь бабе Мане уже за восемьдесят, но она еще легка на ногу и нередко первой проверяла Любаву и Лукерью, как у них самочувствие, не надо ли чем помочь по дому. Бывало не раз, когда которой-нибудь из них не под силу оказывалось принести ведро воды из ближнего колодца.

Сучковатый батог стоял на старом месте, у крыльца. Опираясь на него правой рукой, Любава двинулась через улицу. Подойдя к соседкиным воротам, она обнаружила входную дверь во двор

запертой изнутри. Постучала батоном в ближе к наружной двери оконце — никто на стук не отозвался. Чтобы попасть во двор, надо было перелезть через изгородь и зайти через калитку из соседского огорода.

Одна пробираться в дом соседки Любава побоялась и двинулась за помощью к Мане. Слава Богу, та сидела у окна и растеребливала по весне снятую с овечки грязно-белую шерсть.

Обсудив случившееся и почуяв неладное, обе поспешили к товарке. Кое-как, с грехом пополам, проникнув в домишко к Лукерье, они обнаружили хозяйку бездыханной. Та лежала у порога поперек пола, рядом валялись поленья нарубленных из старой изгороди дров — Лукерья собиралась, похоже, протопить русскую печь. На шестке стоял чугунок с помытой для варки картошкой, лежал обрывок бересты и коробок со спичками.

— Преставилась, великомученица! — сказала бабушка Любава. — Царствие ей небесное!

— И истово перекрестилась.

— Что делать-то будем, Люба? — закрыв покойнице глаза, спросила Маня.

— До детей скоро не дозовешься, за границей теперь живут, на Украине.

Старые женщины знали, что сын у Лукерьи, пожилой уже человек, живет в каком-то Чернигове, а дочь в морском городе Одессе. Вызывать их телеграфом — штука весьма дорогая, а поездка на похороны — дело теперь совсем непосильное. И все же решили они поискать адреса. Обшарив углы и закоулки, старых писем у бабушки не нашли. В последние годы писем Лукерья совсем ни от кого не получала, как не получали их ни Любава, ни Маня. Почтальон приходил в их деревню Калиновку лишь раз в месяц, в день выплаты пенсии.

Всплакнув возле покойницы и помянув ее, безответную труженицу, добрыми словами, старые женщины решили обратиться за помощью к сельскому голове Якову Толстоброву.

— Ты, Маня, проверь в сундуке, цела ли у покойницы в последний путь одежда, затопи печь и нагрей воды. А я в контору двинусь, к людям. Попрошу их сделать гроб и намогильный памятник. Вернусь когда, обмоем и соберем нашу подругу в последний путь.

Контора бывшего сельсовета от Калиновки была недалеко, в трех километрах, и бабушка Любава управилась с делами только к вечеру. Спасибо природе: будто почуяв смерть, дождь прекратился, свежий ветер разогнал низкие мокрые облака, и на улице посветлело. Любава не забыла в селе зайти к батюшке и договорилась с ним в назначенный день справить панихиду.

На другой день привезли в деревню сделанное плотниками домовище и большой деревянный

крест из смолистого соснового комля, который и укажет последнее пристанище бабушки Лукерьи. Может, кто и надумает помянуть ее, она ведь в свое время не у одного десятка деревенских молодых приняла роды, заговаривала какие-то болячки, вправляла грыжу... Была незаменимой и в артельной работе, и в домашних делах и, в любой помощи однодеревенцам...

Бабушку Лукерью провожало на кладбище лишь несколько человек. Среди них уже знакомые нам две старушки-подружки, двое пожилых мужиков, копавших ей могилу, да молодой парень, приехавший на старой громахующей, будто разваливающийся трактор, деревянной телеге, на которую поставили с любовью обихоженный женскими руками, пахнувший свежей еловой стружкой дощаной гроб. Бабушка Лукерья лежала, будто живая. Казалось, сейчас проснется, выпрямится и скажет: "Что это вы делаете со мной, люди добрые?"

Когда все было готово, парень тронул лошадь вожжами, и печальная немногочисленная процессия тихо тронулась в направлении села, в центре которого, на возвышении, стояла старая деревянная церковь с блестящими золотом крестами на высоких куполах. Проводить бабушку Лукерью в последний путь, сказать в ее адрес прощальное слово никто не пришел ни из руководителей бывшего колхоза, ни из сельского округа, как по-новому называется теперь сельский Совет. Забыли теперешние начальники, что баба Лукерья отработала в колхозе более полувека, что доблестный труд ее отмечен двумя медалями — за великую войну и "Ветеран труда", которые ни за что ни про что деревенским людям не вручались. И только батюшка отец Наум воздал усопшей должное, провозгласив: "Со святыми упокой!"

Траурное собрание помаленьку растаяло, и каждый, перекрестившись, направился в свою сторону.

Баба Маня и баба Любава двинулись в свою осиротевшую Калиновку.

Осенний надоедливый дождь, будто вспомнив свою неоконченную работу, припустил с новой силой, едва добрались старые женщины до своей деревни.

— Зайдем-ка ко мне, Люба, — пригласила бабушка Маня соседку. — Есть у меня немного малиновой наливки, помянем покойницу. Уважала она в последнее время сладкое вино.

Баба Маня принесла из клетки несколько румяных яблок, банку козьего молока и стаканы. Нарезала черствого из сельповской лавки хлеба, положила в сахарницу сладкого сдобного печенья и горстку карамелек. Достала граненые, на высокой ножке широким кверху, три старые рюмки и, вынув из залавка заветный графинчик, разлила алую душистую жидкость по стеклянным

рюмкам. Одну из них, накрыв кусочком хлеба, Маня отставила в сторону, на краешек стола.

— Это нашей Лукерье, упокой Господи ее душу со святыми, — всплакнув, тихо промолвила бабушка Маня. — Безответный была она человек, вся деревня помнить ее должна.

И сообразив, что деревни почти нет уже на белом свете, в живых остались только они, две старые женщины, Маня во весь голос, навзрыд заплакала, дав волю слезам, чтобы скрыть ими свое неутешное горе.

— Ну, будет, будет, Манюша, — ласково прикоснулась Любава своей теплой рукой к плечу единственной на этом свете так близкой ей сегодня старой женщины. — С того света слезами не вернешь, а нам, может, сколько-то еще пожить придется. — Давай помянем нашу дорогую Лушу, царствие ей небесное!

Они одновременно подняли рюмки с наливкой, с печалью посмотрели на третий стаканчик, поставленный для Лукерьи, и молча, как святое причастие, не морщась, выпили ритуальное вино.

И столько было в их печальных лицах грусти, столько невысказанного горя в их сухих сгорбленных фигурах, будто оплакивали они сегодня не самого близкого человека, с которым ломали вместе многие годы тяжелой вдовой жизни, а всю многострадальную деревню под названием Калиновка, будто оплакивали всех двадцать пять погибших на большой войне мужиков — своих мужей, братьев и любимых, которых так и не дождались, состарившись, деревенские невесты. Да и сами женщины — Любава и Маня — маленькие ростом, усохшие лицом и фигурой, будто являли собой теперешнюю Калиновку, тоже сильно постаревшую и усохшую до двух жилых домов, в которой насчитывалось до войны целых полсотни полнокровных хозяйств с оравой малых ребят в каждой крестьянской избе. Где они теперь, эти люди, куда устремились в поисках лучшей доли? Кто теперь знает? Низко поклонимся же, друзья мои, этим святым женщинам, честно прожившим здесь, на Вятской не шибко плодородной земле, всю свою большую жизнь и подошедшим к последнему ее рубежу.

Здоровья им и счастья на многие годы!

II.

Люба вышла замуж незадолго до войны за приглянувшегося ей парня из своей деревни. Калиновская молодежь, как только заканчивались весной полевые работы, облюбовывала местечко для коллективных встреч. Чаше всего им являлась Лизина гора, где деревня касалась дальним своим от столбовой дороги концом большого оврага. Тут, на взгорке, жила вдова тетка Елизавета с двумя взрослыми дочерьми — Натальей и Ан-

ной. Здесь, неподалеку от Лизиной избы, и помещалась некая площадка, которую выбрала для летних гулянок молодежь.

Собирались тут до двух, а то и до трех десятков девок и парней, шустрых подростков, которые, как стайка воробьев, облепляли ближнюю изгородь, глаза, как парни, шествуя парами, обхаживают молодых девок. Вовсю тренькала на горе балалайка, вызывая девок плясать серблянку или на озорные частушки. Веселье наддавало жару, когда на Лизину гору приходил сам Аркаша Басманов, видный, плотного телосложения невысокий парень со своей хроматической гармонью, которую ему, талантливому подростку, где-то по весне перед самой войной купил отец, дядя Андрей, не пожалев целых восемьдесят пудов, чуть не полторы тонны, первосортной ржи из своего амбара. Гармонь была голосистая и нарядная, очень модная тогда “Колеватовская”, которую с большим мастерством изготовил сам Семен Витальевич Оносов из деревни Новозаводская, что под селом Шешурга. Игрушка высокой цены стоила, и Аркаша выманивал из дома своей замечательной игрой самых ленивых. Гармонь поднимала с печи даже древних стариков, и те высывались, сидя в избе на лавке, из окон, чтобы послушать, посмотреть, что делается на улице.

Эти вечерние веселья продолжались почти до самого утра. Не выспавшиеся, но отнюдь не полусонные, парни и девки чуть свет отправлялись на колхозную работу, каждый на свое место — выкидывать вилами на телеги из хлевов на паровое поле навоз, полоть лен, на другую работу, которой в деревне хватало тогда всем. Иди да не ленись!

На Любу давно засматривался Иванко Журавлев, парень почти саженого роста и мягкого покладистого характера. Его голубые глаза прикрывались модной, низко опущенной слева по лбу челкой, высматривали понравившуюся девушку из-под лохматых бровей в любой толпе и, найдя, опускались долу. Люба не раз встречала его ищущий взгляд и, откровенно говоря, попросту боялась парня. Нельзя сказать, что он ей не нравился, нет, Ваня парень видный и пригожий. Ее смущал его рост: “Ну-ка, дылда какая!” — говорила себе Люба. — Что я делать-то с ним буду?”

Сама маленькая, подвижная, с носиком-кнопкой на круглом, осыпанном веснушками лице, она и подумать вначале не могла, что рядом с нею на вечерних гулянках, совсем рядом находится ее судьба, ее суженый.

Однажды поздним вечером, когда Люба направилась домой, Иванко догнал ее и осторожно взял под руку.

— Это я, — сказал он. И замолчал, не зная, что сказать дальше.

Некоторое время они так и шли, чуть прикаса-

ясь друг к другу, пока Люба не спросила:

— Что, так и будем в молчанку играть? Или, может, что скажешь?

Иванко прошел еще несколько шагов молча, потом, кашлянув в горсть, чуть слышно сказал:

— А можно я тебя Любавой буду звать?

— Зачем?

— А мне так глянется!

— Как знаешь. Только ни к чему это. Что Люба, что Любава — не все ли равно?

— Все равно, да не одно! — расхрабрился Иванко. — Может, я посвататься хочу к тебе! А Любава — это означает любовь моя.

— Уж больно ты, Ваня, прыток, как я погляжу. Не успел к девке подойти, как о любви да сватовстве заговорил. Может, жених у меня есть, а ты...

— Знаю я твоих женихов! — расхрабрился Иванко. — Уж не Гришка ли дурачок? А если кто другой, так я ему... — Иванко поднял свой кулак и погрозил в темноту невидимому сопернику.

— Ох, Ваня, Ваня, неужели я одного Гришки-дурачка стою? — спросила Любава.

Тихо разговаривая и споря о мелочах, они дошли до Любавиного дома.

Иванко взял Любаву за руки:

— Не сердись, если обидел я чем. Только дороже тебя нет у меня никого на свете. Запомни это!

Так нашли себя два полюбивших друг друга сердца. Вскоре сыграли скромную, без особого шума свадьбу, пригласив лишь самых близких родственников. Ваня жил без отца, красногвардеец Петр Журавлев погиб где-то на Перекопе еще во время гражданской войны. И стала Любава для Иванковой матери Пелагеи второй родной дочерью.

А вскоре молодая женщина понесла, и в суровые крещенские морозы, почти в самом конце года, родила славного мальчугана, которого нарекли родители Петей, наверное, в честь погибшего деда. Приняла роды незабвенная бабушка Лукерья.

В том самом году, в начале лета, и вспыхнула жестокая война, длившаяся целых четыре года. Одного за другим призывал военкомат калиновских молодых мужиков и парней в строй защищать Отечество. Вместе с другими ушел в конце июня на войну и Иванко Журавлев.

Узнав о повестке, Любава думала, что лишится рассудка. Надо было приготовить мужу кое-что в дорогу — кружку, ложку, пару бельишка, что-то из харчей, а у нее все валилось из рук. Все, что делала она, получалось бессознательно. Бабушка Пелагея молча наблюдала за невесткой, тихо подсказывала. Сроку на сборы отвели всего лишь пару дней.

И вот наступили прощальные день и час. Любава бросилась на кровать, лицом в подушку и

безумно заголосила. Иванко сел рядом, посадил к матери заревевшего малыша и стал успокаивать жену. Он тихо гладил Любавины волосы и чуть слышно говорил:

— Любава, милушка моя, успокойся. Мы двое, оба с сыном просим тебя. Я ведь жив еще, а война, бывает, и милует солдата. Не реви, мы еще поживем с тобой, сына вот вырастим. Бог даст, и дочка появиться у нас.

То ли опомнившись, что делает она в этот прощальный час не то, что надо, то ли успокоил ее негромкий, тихо журчащий Иванков голос, Любава примолкла, поднялась на постели и села рядом с самыми близкими ей людьми — мужем и сыном, которого бабушка Пелагея поспешила забрать к себе.

А на улице, под окном, печально взывала гармонь, и чей-то мужской высокий голос, будто рассказывая и рыдая, с большим чувством запел:

*Во солдатушки ребятушкам —
Не к маменьке родной.
Не поставит самоварчик,
Не скричит: сынок, домой!*

Любава упала на грудь мужа и снова заплакала во весь голос, будто по покойнику.

— Любава, милая моя Любавушка, ведь мне пора. Крепись! Разобьем врага, и я вернусь.

Когда они, обнявшись последний раз, вышли на улицу, подвода уже подходила к проулку, на дорогу к Потняку.

Первое время после проводов мужа на войну ходила Любава сама не своя. Возьмется за какое-нибудь дело, и забудет, до конца не доведет. Бабушка Пелагея ворчала:

— Опомнись, ведь у тебя сын растет. Он разве виноват, что растреклятый Гитлер на нас навалился. Вари давай кашу да корми парня.

Мало-помалу стала Любава успокаиваться, приходить в себя. Дел и в колхозе, и дома было невпроворот. А тут еще назначили Любаву бригадиром первой колхозной бригады. Работы прибавилось, и пошло-поехало. Порой забывала прийти домой пообедать. Спасибо свекрови, за внуком глядела она в оба глаза.

Так в хлопотах и заботах прошло первое лето войны, за ним осень и суровая зима. От Иванка где-то поначалу пришли всего два письма из какого-то Вишкиля. И все. Будто отрезал ее кто от мужа. А весной 1942-го принес почтальон квадратное казенное письмо из части с голубым штампом в левом углу, в котором сообщалось, что гвардии рядовой Иван Петрович Журавлев погиб смертью храбрых, защищая столицу нашей Родины город Москву. И еще сообщалось, что похоронен он у деревни Крюково близ города Волоколамска.

Любава выла по покойнику несколько дней,

пока не одумалась, что с того света еще никто и никогда не возвращался, как ни реви. И с молодой нерастратченной любовью она повернулась к родной кровинке, к единственному сокровищу, оставшемуся от мужа, к сыну Пете.

Где-то с той примерно поры стала замечать Любава пристальное внимание к себе со стороны кладовщика Федьки-хромого. Федька — это Федор Зверев, здоровенный мужик лет сорока. Жил он бобылем и, как мартовский кот, не пропускал в деревне ни одной сколько-нибудь заметной бабенки. На фронте он, конечно же, не был, а ногу повредил еще в детстве — ступила ему подковой на три пальца левой ноги норовистая молодая кобыленка, когда он грубо хотел ее взнудать. В деревне Федьку-хромого не любили, и хотя он был в приличном возрасте, звали его не Федором, а Федькой-хромым. Был Федька хмур и на белый свет постоянно смотрел исподлобья. В молодости, говорят, он был женат, но смиренная молодайка ушла от него через полгода, не вынеся его тяжелого характера и кобелиной прыти. Со спины Федька-хромой сильно смахивал на медведя — на ходу так же косолапил, шел, опустя плечи и доставая руками чуть ли не до земли.

Любава случайно встретила его как-то под вечер у амбаров. Федька-хромой убирал с весов гири и собирался домой. Лето стояло сухое, в колхозе заезжая бригада механизаторов машинно-тракторной станции прицепным комбайном "Коммунар" убирала на дальнем поле семенную пшеницу.

— Заходи, Люба, в гости, — позвал Федька-хромой. — Посидим, поплоем да насчет жизни потолкуем.

— С чего это я с тобой стану балясы точить? Мне домой поскорее надо, — сказала Любава. — Ребенок ждет.

— Возьми вот пшенички на кашу малышу, — предложил Федька хромой. — Нелишне будет.

— Кому-нибудь другому предложи, а мне не надо! — отрезала Любава. — Колхозное добро транжиришь? Смотри, Федор!

— А ты не стражай меня, не стражай! Не из пугливых я. Подумала бы получше, может пригожусь.

Федькина воровская мысль с колхозной пшеницей запала Любаве в голову. Семья голодала. Если взрослые жили без хлеба (разве можно назвать хлебом те лепешки, слепленные из семян лебеды и смолотой на жерновах старой клеверной кашки, чуть сдобренной для связки ячменной мукой!), то ребенок такой стряпней питаться не мог. Ему не подашь тот черный хлеб, смешанный в глиняной чашке с простоквашей или снятым молоком.

За ужином Любава поделилась своими планами со свекровью. Старая женщина их не одобрила.

— Ну как попадешься! Ведь тюрьма за это будет, — сказала бабушка Пелагея. — Да и не посадят если, дак сраму не оберешься.

И она поведала снохе о двух случаях, которые произошли в большом дальнем колхозе, где-то под Кикнуром. Одну женщину посадили за пригоршню взятой ржи в тюрьму на два года, а другую вроде как пожалели. Послушай вот, как дело было.

— У женщины той, бают, — рассказывала свекровь, — не сильно молодой, было трое или четверо ребяток, все мал-мала меньше, и все есть просили. В деревне тогда молотили ячмень. Пошла она ночью на ладонь, где днем конная молотилка гудела, и положила в приготовленный за пазухой мешочек пригоршни две того ячменя. Пропущу, мол, в жернова и наварю утром каши всей рябачьей ораве. А на ладони-то, завернувшись в тулуп, сидел сторож, этакой вонючий одуванчик, и углядел бабу. Ничего ей не сказал, а утром раззвонил на всю деревню. Ей бы отпереться, мол, приснилось старому псу. А она, баба честная, созналась и говорит: "Простите, люди добрые, бес попутал!" Ну и простили ее, — продолжала Пелагея. — Только что придумали, окажные? Велели ей положить взятое зерно в передник, пройти из конца в конец по всей деревне и поклониться каждому дому со словами: "Простите, я больше воровать не буду!" Поверишь ли, Люба, баба ума было лишилась, вечером ее чуть живую из петли вытащили! Вот какие истории в жизни бывают, — предостерегла сноху бабушка Пелагея.

"Э-э, — подумала Любава. — Волков бояться — в лес не ходить!" И ночью, когда настенные часы пробили двенадцать, она, крадучись возле изгороди, двинулась к ладони. Тропинка от дому была знакома, ни к чьему двору не подворачивала, и Любава очень надеялась на успех задуманного предприятия, зная, что сторожа сегодня нет, она сама отпустила его в соседнюю деревню.

Любава тихонько, от леса, зашла на ладонь в широкие ворота, в которые заезжают на лошадях с возами снопов, и осторожно, возле стены, пошла к чуть видневшемуся вороху зерна. Наклонившись, стала наполнять припасенную дома небольшую котомочку. Не успев наполнить ее, она услышала близкие шаги. Убежать не успела и закричать тоже. Чьи-то очень сильные руки схватили ее сзади, тут же зажали ей рот, и человек голосом Федьки-хромого сказал:

— Не бойся, Люба, это я. Правильно сделала, что пришла. Я жду тебя не первую ночь, и вот, слава те, дождался. А пшеница, она теперь вся твоя!

С этими словами Федька схватил Любаву в охапку и, отнеся в угол, бросил ее на большую кучу соломы. Любава не успела ни упереться ему в

грудь, ни закричать — испуг сковал ей руки и ноги. Только подумала: “Пусть тюрьма, только не срам на всю деревню, как у той женщины из дальней деревни”, забыв при этом, что Федька хромой совершит сейчас срам не меньший.

А Федька тем временем торопливо, навалившись на Любаву по-медвежьи, срывал с нее одежку.

— Ведь ты задавишь меня, дьявол! — взмолилась, опомнившись, Любава.

Хохотнув, Федька лукаво заметил:

— Ничаво! Мышь, она, говорят, копны не боится!

Наголодавшись, Федька-хромой мучил ее до изнеможения. Любава стонала, пыталась вырваться, но Федькина медвежья туша все больше от этого воодушевлялась, вновь и вновь прижимала ее к земле.

Любава пришла домой на утре. Бабушка Пелагея, не рассмотрев в темноте растрепанную сноху, окликнула ее с печи с укором:

— Что-то долго ты... Поди, не в путь?

— Да вот, принесла немного, — сказала Любава.

И стала складывать в печку припасенные с вечера дрова, чтобы сварить семье злополучной пшеничной каши.

III.

Каждую весну, когда приходило время обрабатывать огороды, наваливалась на Любаву забота: как вспахать, как посадить картошку. В деревне обретались теперь одни старики да бабы с подростками, коней было мало, им хватало дел и на колхозном поле. Председатель был строг и поставил условие: пока в колхозе не отсеются, обсырках нет и речи. Конечно, как бригадир Любава могла вспахать свой домашний участок без всякой очереди, не дожидаясь окончания сева. Но как потом глядеть людям в глаза?

Не раз предлагал ей свои услуги Федька-хромой: “Да я тебе весь осырок ночью вспашу, только скажи”.

Любава не соглашалась. Он настолько опротивел ей, что она не только разговаривать с ним — не могла даже видеть его нахальную рожу.

— Так что теперь, горшок о горшок, что ли? — приставал Федька-хромой, случайно встретив Любаву где-нибудь наедине.

— Забудь обо всем, считай, что у нас ничего не было, — отрезала ему однажды Любава. — Иначе пожалуюсь парням. Они те накостыляют! Не смотри, что большой да здоровый.

Федька-хромой зло плюнул и больше к Любаве не подходил. И еще предупредила Любава:

— Если ляпнешь где про старое, — повешусь и бумажку оставлю, что виноватый ты, прохвост.

И вот пришел день, когда соседский парниш-

ка-недоросток Коля-маленький (был в деревне еще один Коля, побольше) подъехал к их воротам с сохой и велел разбирать изгородь, чтобы пробраться на осырок. Он скорехонько хорошо отлаженной сохой вспахал все тридцать соток, которые отведены были под картошку и другие овощи. На двадцати сотках за оврагом Любава еще осенью посеяла рожь, а в апреле, по черепку, раскидала семена красного клевера с тимофеевкой. Вырастут теперь они на огороде, и будет корове хороший корм.

Вспашка участка заняла немного времени, каких-то полдня. А запрячь лошадь в черкушу, чтобы наехать гребни под картофель, нечего было и думать. Выход мог быть в одном: или запрягаться в тяжелую черкушу самим, или тащить на участок из хлева ничего не подозревавшую коровенку.

Собравшись воедино, четыре соседские бабы решили облегчить себе труд с помощью яловой Любавиной коровы Ляльки, отъевшейся за зиму на клеверном сене, будто на убой. С грехом пополам завели Ляльку в оглобли, приладили сбрую, на шею вместо хомута одели сшитые из рукавов старого ватника толстые лямки и, благословясь, хотели начинать.

Но Лялька оказалась не дурой. Поняв, чего от нее хотят, она жалобно замычала, как бы говоря: “Ишь, чего задумали! Я вам не лошадь, хоть и яловая, но корова”. Потянули Ляльку за рога другой и третий раз. В конце концов корова не на шутку осердилась, взбрыкнула задом и ударила ногой в остро отбитый в кузнице металлический окучник.

На том малая механизация в одну коровью силу и завершилась. Ляльку выпрягли, смазали ей ногу легтем, завязали тряпкой и поставили в хлев до востребования.

Картошку же решили посадить сегодня, время подпирало. И пришлось бабам, скрепя сердце, запрягаться в тяжелую конскую черкушу самим. Одна встала в оглобли, двое разместились по бокам, Любава взялась за держак. И вспомнив древний клич “Раз, два — взяли!”, потихоньку тронулись вперед. Почва была мягкая, унавоженная, и тем не менее тащить на себе черкушу было настолько тяжело, что заходило сердце. Через каких-то несколько минут женщины взмокли и остановились. Все-таки работа с землей — это не бабье слабосильное дело.

И тем не менее. Шаг за шагом, часто останавливаясь для отдыха, они наехали гребни во всех четырех огородах. К вечеру закончив работу, они упали на траву в конце последнего загона, и казалось, никакая сила не сможет их поднять и заставить что-то делать еще. Но прошла минута-другая, молодые ноги и руки вновь почувствова-

ли в себе силу, неотступная мысль, что надо немедленно в наеханные гребни положить семена картофеля, подняла их с земли, и каждая отправилась домой, чтобы сегодня же заняться этим неотложным весенним делом.

Крестьянки вздохнули с облегчением лишь после того, как на колхозном поле и на своих осырках все было посеяно и посажено. Кое у кого зазеленел уже молодой лучок, зацвели на грядках яркими желтыми цветами огурчики, заневестились, нарядившись в белые молочные кружева, проснувшиеся от зимней спячки яблоньки.

Шел четвертый год самоотверженной работы в деревне, четвертый год войны.

И вот пришел месяц май. Весть об окончании сражений и нашей великой Победе пришла в Калиновку неожиданно. И верилось, и не верилось. Внешне, кажется, ничего не изменилось. Так же цвели яблоньки, так же шумливо играли на улице дети. Мужики домой что-то еще не возвращались, кроме нескольких калек, которых подчистую выписывали из госпиталей.

Любава все ждала. Любава не верила той давней казенной бумаге, которая сообщила ей о гибели любимого Иванка. Но проходили дни, проходили недели и месяцы, а Иванко ее не возвращался. Пришли уже домой те мужчины, чей возраст попадал под демобилизацию, пришли, вылечившись, раненые из госпиталя. Иванка все не было и не было. Он часто снился ей во сне, обнимал и ласкал. Она показывала ему сынишку, гордилась тем, что Петя растет здоровым и любознательным.

Однажды ночью ей послышался стук в окно. Она затаила дыхание. Стук повторился, негромкий и шуршащий.

— Уж не Иванко ли? — всполошилась Любава.

Она быстрехонько накинула на плечи халат и подошла к окну. Летняя пасмурная ночь перед утром была настолько темна, что разглядеть кого-то, если на улице человек, было невозможно. Любава напрягла слух — о мокрое стекло осторожно царапнула ветка черемухи, посаженной Иванковыми руками в день их свадьбы. Любава тяжело вздохнула, подумав, что так недолго лишиться рассудка.

В детской кроватке заворочался Петя, спросонок он что-то забормотал. Любава подошла к сыну, поправила съехавшее одеяльце и отправилась к себе досыпать.

На печке закряхтела бабушка Пелагея.

— Сколько времени-то? Поди, рассветет скоро? — спросила она.

— Спи, рано еще. Чего я не сплю? Да так вот, не спится что-то. Должно быть, жарко.

В избе снова все погрузилось в сон.

IV.

Шло время. Война стала уходить назад, в историю. И вспоминали о ней чаще только те, у кого в семье кто-то не вернулся с войны совсем или кто залечивал еще незаживающие тяжкие раны.

Любава все ждала своего Иванка. Не спала ночами, вставала, подходила к окнам, вглядывалась в темноту. Пила из ведра воду.

Однажды бабушка Пелагея повела с нею неожиданный разговор.

— Гляжу на тебя, как маешься ты да сохнешь, и думаю. Иванка нам не дождать. Был бы жив, давно дал бы восточку. А так... Шла бы ты, девка, замуж.

Любава долго молчала. Потом сказала:

— Да ты что, мамонька, как можно? У меня ведь от Иванка сын растет.

— Ну и пусть растет. Ему ведь отец нужен, наставник на путь истинный. Мужчина. А самой тебе, оглянись-ка, и двадцати пяти нету. Девчонка ты еще несмышленная.

После того разговора со свекровью стала Любава задумываться, чаще разглядывать себя в зеркале. На нее глядело со стекла совсем еще молодое конопатое лицо. Стала замечать она, как задерживают на ней свой взгляд деревенские мужики, причем по всем статьям получше хромого Федьки. Замуж, замуж... Ох, бабушка Пелагея, задала ты мне задачку! Только за кого идти-то? Ведь не у мужней жены отбивать?

Как часто бывает, помог случай. Однажды весной, еще до полевых работ, пригласили всех колхозников в ближнее село. Не только из Калиновки, из всех других деревень. Понаехало начальства из района — не сосчитать. И повели разговоры об укрупнении всех сельхозартелей в одно большое хозяйство. Многие задумались: как это так, все десять деревень в одну кучу? Спорили, ругались до хрипоты, а потом из президиума кто-то предложил проголосовать. За объединение деревень не подняла рук и половина собравшихся. Но почему-то в протоколе оказалось записанным: единогласно!

Выбрали и привезенного из центра председателя, мужика видного, при усах и с рыжим чубом, свисавшим на глаза из-под большой черной лохматой шапки. Мужика звали Нестор Иванович, по фамилии Соломин. Было ему где-то лет под пятьдесят.

Избрали правление и ревизионную комиссию. От Калиновки в правление зачислили Любаву Журвлеву.

Председатель районного исполкома Семибратов поздравил Соломина с высокой должностью, крепко пожал ему руку и в заключение обратился с шутивым предложением:

— Еще доложу вам, товарищи, что Нестор Иванович вдов и стариком я бы его не назвал. Так что, одинокие солдатики, мотайте себе на ус и не плошайте. А то не ровен час, перемянут его в другой колхоз. Бабы нынче кое-где прыткие!

Посмеялись над шуткой всем собранием. На том и разошлись.

Нестор Иванович взялся за дело круто. Посоветовавшись с правленцами, он выгнал с работы всех пьяниц-бригадиров, вымогавших за каждую мелкую услугу поллитровку у вдов и старушек. Навел порядок на конных дворах и в конюховках, а также на молотильных токах и в кузницах. У лошадей появилась новая сбруя. В кузницах застучали молотки, стали ремонтировать к весне сохи, бороны и черкуши, гнуть подковы коням, обивать шинным железом поистрепавшиеся колеса, обновлять тонкой доской телеги.

Как-то раз собрал на чай в центральной контроле всех колхозных, около десятка, конюхов и душевно с ними поговорил. А двоим, самым лучшим, вручил премии — невиданные в ту пору карманные часы марки “Победа”. Приближалась горячая посевная, и председателю позарез нужны были сытые и сильные кони.

Нестор Иванович не оставил без внимания и Любаву. Как-то после заседания правления он попросил ее на минутку задержаться. Пока разговаривал с бригадой плотников, Люба терялась в догадках, зачем она ему понадобилась. “Уж не в кухарки ли пригласить хочет?”, — улыбнулась она себе. Но Нестор Иванович сказал о другом. Он предложил Любе поехать учиться на колхозного счетовода.

“Поближе к себе хочет посадить, — подумала Любава. — Интересно, а дальше что?”

И отказалась:

— Какая мне теперь учеба, Нестор Иванович? У меня дома сын маленький и свекровь старая. Да и училась я в школе всего четыре зимы.

— Это дело поправимо, — не согласился с Любавой председатель. — Было бы желание. Вы еще женщина молодая, у вас все впереди.

— Спасибо, Нестор Иванович, за внимание. Только из деревни никуда я не поеду. Не хочется мне. Приросла я к домашнему хозяйству, к земле.

— Ладно, давайте сегодня закончим, — сказал Нестор Иванович, — только к этому разговору мы еще вернемся.

Но вернуться к разговору об учебе не пришлось. Вскоре скончалась бабка Пелагея, которую чтила Любава как родную мать. Пришла старушка из церкви после обедни, легла отдохнуть да так и не встала больше. Любава обнаружила это вечером, когда вернулась с работы. Позвала ее ужинать, а слов ее в ответ уже не услышала.

Бабушку Пелагею похоронили неподалеку от

входа на кладбище, под старыми березами, там, где покоились ее родные и другие близкие родственники. На могилу поставили старой колхознице металлический крест и купленное в районе серое бетонное надгробие. Пригласили на кладбище и батюшку, он совершил у могилы то, что полагалось делать в таком случае.

Любава долго горевала по свекрови. Ведь она была для нее после смерти родителей не только старшей в доме женщиной, но и второй родной матерью. Царствие ей небесное! Пусть земля будет пухом во время вечного покоя!

Забывалась Любава от тяжких дум на колхозной работе. Оставив сынишку у старой соседки, она, бригадирша, с раннего утра и до ночи крутилась то в поле, то на одной из ферм, то у амбаров. Федьку-хромого Нестор Иванович из кладовщиков прогнал и назначил бригадиром на пилораму. Лес колхозу был нужен как никогда! В колхозе строилось жилье, фермы, закладывался новый клуб для молодежи.

Шло время. Душевные раны зарубцевались. Поднималось настроение, хотелось жить и радоваться рассветам и закатам. Любава часто задерживалась в поле, любовалась посевами. На озимом поле стеною стояла рожь. Ласкали взгляд яровые. Быть нынче бригаде с хлебом! Хороший урожай ожидали и в других деревнях. “Бог даст, не скудным будет нынче трудовень, — думала Любава. — Авось не отправит Нестор Иванович все до зернышка в заготовки, как прежние председатели. Войны давно нет, пора бы людям чистого хлебашка отведать”.

Пришла уборочная страда. Подготовились к ней неплохо. Из машинно-тракторной станции убирать хлеба пришли несколько прицепных комбайнов “Сталинец”. На конных телегах-бестарках, обшитых с бортов тесом, едва успевали отвозить зерно на тока. Первые обозы с хлебом пошли в государственные закрома.

И вот из центральной конторы пришло распоряжение составить ведомость о выдаче зерна на трудодни колхозникам.

Наступил день, когда к воротам Любавиного дома привезли мужики шесть больших мешков отборной ржи — целых тридцать пудов! Любава от радости заплакала — такого хлеба она еще не видывала. “Вот порадовалась бы мамонька Пелагея, царствие ей небесное”, — подумала Любава, показывая мужикам, куда в клетки высыпать из мешков.

Радовались и в других семьях. Да и как не радоваться! Многие годы жили впроголодь, на хлебе вперемежку с картошкой да с толченой лебедой. Люди так соскучились по чистому, без примесей ржаному караваю, что получение натурального аванса превратилось в деревне в большой праздник.

Нестора Иванович в каждом доме вспоминали добрым словом, желали ему здоровья и счастья на многие годы. Но какое могло быть счастье у одинокого мужика, без своего дома, без своего гнезда?

Однажды вечером к Любавиному дому подкатил тарантас. Единственным седоком был в корзинке Нестор Иванович. Привязав жеребца концом недоуздки к кольцу у ворот, председатель, постучав в двери, попросил разрешения войти.

— Дома ли хозяйка? — спросил он, вытирая ноги о половик, брошенный у порога.

— Дома, дома, заходите, — смутившись неожиданному гостю, пригласила Любава. — Проходите вперед, Нестор Иванович. Раздевайтесь. Только у меня не прибрано, не обессудьте.

— Какой насчет этого может быть разговор! — сказал Нестор Иванович. Любава заметила, что он был в новом темно-синем шевиотовом костюме, в белой, в синий мелкий горошек рубашке и при синем же галстуке в клеточку.

— Приходите, присаживайтесь, — сказала Любава. — Гостем будете.

“Ох, не к добру все это, ох, не к добру!” — подумала Любава и захлопотала насчет самовара. Ведь все-таки председатель приехал. Застелив стол свежей скатертью, она пригласила гостя угоститься, чем Бог послал.

Устроившись возле самовара, Любава налила в чашки ароматного напитка. Оба долго молчали. Один, не зная, с чего начать, другая — о чем говорить. Вообще-то Любава догадывалась, зачем пожаловал высокий гость, и потому, немало смущенная, сидела опустив глаза к полу.

Когда сидеть молча стало неловко, Нестор Иванович встал из-за стола, подошел к деревянному гвоздю, на котором висел дорожный плащ, и достал из внутреннего кармана поллитровку водки.

— Вообще-то я этим делом не увлекаюсь, — сказал Нестор Иванович. — Купил только ради важного случая. Так что с вашего разрешения, Любовь Григорьевна, может, по рюмочке выпьем?

Любава принесла из кухни маленькие граненые стаканчики и поставила их на стол перед Нестором Ивановичем. Он распечатал бутылку и наполнил стаканчики. Один из них подал Любаве, другой взял себе в обе руки.

— Давайте, выпьем, Любовь Григорьевна, за единство одиноких душ, — подумав, Нестор Иванович, поставил стаканчик на стол и, заметно волнуясь, сказал: — Наверное, мне лучше проще выразиться, понятнее. Я ведь свататься приехал, Любовь Григорьевна. Можете со мной согласиться, можете выгнать вон. Не обижусь. Только ведь мне одному жить несладко, да и вам, должно быть, тоже. Ответа сразу не жду. Поду-

майте. А вино, коли налито, давайте выпьем.

Так в скором времени стали они мужем и женой.

Только очень коротким было их счастье. Прожила Любава с Нестором Ивановичем всего один год с небольшим. Понимали они один другого, уважали. А что еще человеку нужно? А причиной их разлуки послужила такая вот гнусная история.

Как-то морозным декабрьским вечером вышел Нестор Иванович пройтись по Калиновке. Вскоре после регистрации брака он перебрался жить в дом к Любаве. Заслышав голоса, решил зайти на огонек в конюховку. В избе сидели трое мужиков. На столе стояла бутылка денатурата и стаканы, горбушка черствого хлеба.

Поздоровавшись, Нестор Иванович спросил:

— Чем это вы угощаетесь и по какому случаю?

Мужики были слегка навеселе.

— Пьем мы, уважаемый наш председатель, коньячок под названием “Две косточки с черепком”, — ответил сидящий у печки рябоватый мужичонка. — А случай сегодня выпить очень подходящий — день рождения Иосифа Виссарионовича.

Рябоватый мужик встал и плеснул в порожний стакан немного синеватой вонючей жидкости спиртовой крепости и Нестору Ивановичу. От угощения тот категорически отказался:

— Как можно пить такую пакость за здоровье великого вождя народов? Это не вино, а самая настоящая отравка! — сказал Нестор Иванович. И, не простившись, вышел.

Один из сидящих, в недавнее время председателем колхоза обиженный (а это был Федька-хромой), придя домой, тотчас же разыскал химический карандаш и амбарную незаполненную книгу, вырвал из нее листок и накатал куда следует “телегу” о том, что их уважаемый руководитель колхоза Нестор Иванович Соломин 21 декабря 1951 года в их честной компании, (Федька называл в качестве свидетелей обоих своих приятелей), побрезговал выпить за здоровье товарища Сталина в день его тезоименинства и тем самым оскорбил вождя.

И загремел Нестор Иванович на десять лет без права переписки в далекий северный край под названием Колыма. Увезли его на “черном воронке” поздней ночью, оставив Любаву в слезах и растерянности. Увезли, и будто он в воду канул...

V.

Ах, Люба, Люба! Дорогая моя Любава! Вот и подходит к концу наш рассказ о твоей многострадальной жизни.

Зима в тот год пришла рано. После обильных продолжительных дождей вдруг похолодало, до

роги и колдобины повысушило. Ударил легкий бодрящий морозец. Он принес двум оставшимся в Калиновке старушкам, Любаве да ее куме Мане, новые заботы и хлопоты.

Любава, преодолевая немоготу, каждое утро выходила на одворицу, брала в руки то пилу, то топор, и начинала хлопотать о дровах.

Колхоз, где они задарма, за бесплатные "палочки", называемые трудоднями, протрубили всю жизнь, почему-то исчез, "прореформировался", и стал называться каким-то не разбери-поймешь товариществом, в котором забыли о чести и совести и где каждый тащил только себе. О старых женщинах совсем забыли. А без дров какая жизнь? Они нужны не меньше, если не больше, чем хлеб.

Изведя на дрова всю изгородь, Любава принялась за хлев, в котором стояла когда-то корова Лялька. Бревна строения под хорошей тесовой крышей были еще ядреными, и Любаве приходилось с усердием трудиться, чтобы отпилить и расколоть несколько чурбаков, чтобы истопить печку.

И так каждый день, на восьмом десятке жизни, выходила Любава во двор и занималась тяжелой работой. В конце концов старые женщины сговорились жить в зимнюю пору в одной избе, и это облегчило их труд. Стало повеселее. Можно было о чем-то поговорить, посоветоваться.

Когда-то почтальон часто приносил Любаве письма от сына Пети, которого она, несмотря на великую нужду и постоянную нехватку денег, выучила на военного инженера. Петр служил от дома не близко, на дальней Камчатке, выслужился до больших чинов, стал, кажется, уже полковником. Давно обзавелся семьей, и к матери приезжал теперь уже очень редко. То ли много у него было теперь забот, то ли письма не доходили, но она стала получать их разве что ко дню рождения.

В последний раз сын приезжал года два назад, звал мамашу на жительство с собой, но Любава отказалась. Куда ей ехать киселя хлебать за такие большие версты, когда прожита в родной деревне вся жизнь без остатка и здесь на недалеком кладбище покоятся ее родители, деды да бабки и закадычные подруги вроде бабушки Лукерьи!

Не стал почтальон приносить в деревню и заработанные многолетними трудами пенсии. Последний раз получали бабушки свое денежное довольствие еще летом, в июле. А на дворе стоял уже ноябрь. Как жить, на что купить того же хлеба или чуточку сахарку? Никого этот вопрос не интересовал, да и интересоваться не мог, потому как

Калиновка где-то в верхах была списана со счетов за отсутствием проживающего населения. Но Любава с Маней были живы, и госпожа в черном одеянии с косой за плечами в покойники их еще не записывала. Спасибо, выросла в огороде картоха, капуста да лук, тыква да галанка с морковкой. Этим и питались. Но хлеба, что ни говори, хотелось. Да где взять, если денег нет?

Как-то бабушка Любава, когда дожди немного угомонились, пошла в сельскую управу, которая командовала теперь полупустыми деревнями вместо сельсовета. И зашла к самому главному руководителю Якову Толстоброву узнать насчет пенсии.

Чиновный начальник, пребывая с глубокого похмелья, никак не мог взять в толк, чего хочет эта старая кочерыжка. А когда понял, закричал:

— Пенсии, пенсии! А где я вам денег возьму? Нету даже в Москве денег.

— Куда это делись они, милоч? — спросила бабушка Любава. — При Советской власти дак всем хватало.

— Не печатают, — отрезал начальник. — Похоже, бумаги нет. Из области приказ пришел — платить пенсии векселями.

— А что это такое, милоч?

Начальник долго чесал за ухом, думал, как объяснить, что означает мудреное казенное слово. Да так ничего и не придумал. Спасибо, помог ему зачем-то зашедший в кабинет без спроса шустрый паренек из сельских специалистов:

— А это, бабуса, бумажка такая. Положим, пошла ты до ветру в хлев, возьми эту бумажку с собой. Вдруг пригодится? — и парень раскатисто рассмеялся.

Бабушка Любава сердито плюнула да с тем и ушла от сельского начальника, подумав, что как-нибудь месяц-другой она еще проживет на картохе, а, может, и всю зиму протянет, а там и на покой пора. Ей давно хочется повидаться со своим родным мужем Иванком, воином и защитником Отечества, павшим во славу его зимою 1941 года.

И подумалось мне: сколько таких старых женщин, а также мужчин, беззаветных тружеников и защитников наших, влачат в конце жизненного пути жалкое существование? Кто скажет, кто сосчитает? И кто посочувствует?

Октябрь 1996 г.

Пашенка в загумнах

I.

Автобус пришел в село рано утром, и Иван Демьянович решил по холодку в первую очередь сходить на заросший старыми березами бугор, где среди десятка расположенных неподалеку от давно закрытой облезлой церкви без куполов и колокольни деревень лежало старое кладбище. Собственно ради того, чтобы побывать здесь да в своей деревне, он и приехал через всю Россию.

На дворе стояла ранняя сухая осень. Пыльную дорогу окаймляла дурная трава, непригодная ни на что.

Иван Демьянович, не торопясь, двинулся мимо церкви к знаменательному бугру, где лежали, покоясь, его деды и прадеды. Некоторых он хорошо помнил, других совсем не знал, только слышал о них от бабушки.

Он никогда не забудет, как старенькая бабушка Настасья учила его грамоте по заголовкам в районной газете “За коллективизацию”. Заголовки были мудреные, непонятные: “На штурм прорывов”, “Ликвидируем кулака как класс”, “Выполним хлебозаготовки”. Казались они малограмотной бабушке бессмысленными. И тем не менее крупный шрифт штамповал жирные буквы отчетливо, из них со старанием можно было сложить слова: дом, рама, Маша... Особенность необычной азбуки состояла в том, что газетами из грубой серой бумаги были оклеены в избе прокопченные от подтопка стены и бабушка била на них тряпкой рыжих тараканов, расплодившихся тогда в великом множестве.

Упокойное сельское место имело удручающий вид. Каменные столбы главного входа обвалились, металлическая решетчатая дверь валялась в стороне под старой осиною, столбы ограды стояли вкривь и вкось, как лишку хлебнувшие по какому-то случаю крутовражские мужики.

Могили матери он нашел сразу, хотя не бывал здесь после ее похорон больше двух десятков лет. На диво, могила не обвалилась, крепко стоял сваренный из арматурных прутьев металлический крест с прикрепленной сверху жестяной овальной пластинкой, покрытой поверх фотографии прозрачной эмалью. Пониже несколько подржавевшей уже жести прикреплена была квадратная пластинка из никеля, на которой умелой рукой гравера было выведено: “Зверева Аксинья Андреевна”. Чуть ниже этих слов стояли цифры, обозначающие время рождения усопшей и кончины. Округлый холмик могилы был густо покрыт опавшими листьями, зарос грубой, будто из проволоки, травой.

Сняв шляпу, Иван Демьянович долго стоял в задумчивости.

Лет ему было далеко за шестьдесят. Круглые плечи низко опущены, спина уже горбилась. Бритое лицо покрыто сетью крупных морщин. Седая голова густо покрыта нерастраченным волосом. Лишь голубые глаза его глядели на свет божий еще молодо, улыбчиво. Левый глаз был прищурен, будто Иван Демьянович прицеливался, и такое выражение лежало на лице, что нажмет вот сейчас дед на спусковой крючок и выстрелит.

Вспомнил Иван Демьянович труженицу-мать и свое голоштанное голодное детство. Мать, известная в колхозе фермянка, овдовела в тридцать с небольшим лет и всю свою неумную молодую энергию потратила на то, чтобы не дать помереть с голоду своим детям, а осталось их четверо. Женщина небольшого роста, худощавая, она бралась за любое в колхозе дело, лишь бы заработать лишний трудовень. У Ивана Демьяновича остались к ней самые теплые чувства. И сегодня он еще и еще раз корил себя за то, что, когда-то, встав на ноги, лишний раз не помог матери деньжатами, не купил обновку к празднику. Хотя мог бы, ох как мог! Он с удовлетворением и сейчас вспоминает, как после войны, во время службы в армии авиационным технарем, послал матери с Сахалина деньжонок. Она тогда купила коровенку, отремонтировала домишко и безмерно была рада, благодарила старшего сына. А ведь мог бы он сделать это и позже. Но как-то потом не приходилось. Наверное, потому, что появилась своя семья.

Иван Демьянович долго стоял у могилы, прося у матери прощения за нанесенные ей в жизни обиды. Хотя знал: мать обиды никогда не держала. Да и какая обида на детей, ведь все они плоть от плоти твои и что дал ты им, то и получишь обратно. Мать дала Ивану многое, главное — жизнь, и благодарен он ей, что вот доживает уже седьмой десяток, не зная особой нужды и заботы.

— Эх, мама, мама! — тихо промолвил Иван Демьянович. — Жить бы тебе да жить, нянчиться с внуками, сидеть под окном на лавочке с такими же старенькими подругами, как сама.

Он еще раз низко поклонился могиле, осеняя себя крестным знамением, что не дельывал очень давно, и пожелал матери царствия небесного.

Вытерев платком повлажневшие глаза, Иван Демьянович решил навестить могилы бабушки Настасьи, деда Петрована, дяди и тети, сватьев. Дядя Егор, теперь уже покойный, однажды, когда Иван Демьянович только что демобилизовался из армии и приехал домой, показал ему могилы дорогих предков. Прах их покоился в се

верном правом углу кладбища, неподалеку от входа. Могилы трудно было уже различить, но каждый раз, когда в редкий приезд на родину заходил на кладбище, он навещал место их захоронения и подолгу стоял тут, вспоминая былое.

Бабушка Настасья не раз прятала его от строгого отца. Иван Демьянович, будто было это сегодня, помнит, как во время обмолота ржи на их приовражной ладони, как говорили тогда, на гумне, молодые мужики для забавы послали его, пятилетнего мальчика, нарвать в огороде у соседки бабки Дарьи сахарного гороху. Малыш, не зная еще, что такое горох, тем паче сахарный, нарвал на ближней грядке недоросших, по пальцу, добрую дюжину желтоватых огурцов и принес их в подоле рубашонки. Отец, вместо того, чтобы усовестить мужиков, набросился было на крошку сына, но бабушка Настасья решительно встала на его защиту, обозвав хохочущих мужиков оглодеями...

Сгушались тучи над Ванюшкиной детской головой не один раз. Вспомнил, как однажды летом, во время страды, когда все были в поле, он полез в избу через окно, чтобы взять в столе кусок хлеба с солью. Прогнившая рама не выдержала его цепких ручонок и, слабо закрепленная, вырвалась из гнезда, крепко ударив по голове. Заорал он благим матом, и выручила его снова бабушка, куда-то отлучившаяся ненадолго по своим делам. Бабушка вытащила торчавший в коже на голове большой кусок стекла, выстригла пораненное место и привязала к нему листок подорожника. Отец вечером было зашумел на парнишку, но бабушка выпроводила его из избы стеклить околицу.

Подобных происшествий можно бы перечислить с десятком, как и всякому человеку, но стоило ли вспоминать давно забытое?

С тяжелым сердцем уходил Иван Демьянович с кладбища. Сердце стало покалывать, и он достал из кармана небольшой пенальчик с валидом. До родной деревни было не более версты. Он спустился с холма и напрямик по непаханому полю двинулся к устью оврага, который подкрадывался к западной стороне деревни. Молодая березовая роща упиралась в этот овраг, некоторые березки, будто нарядные девчушки, выбежали на самый берег Крутояра.

Родная его деревня называлась Крутовражьем. И, наверное, потому, что почти с самого ее начала, выходящего полевыми воротами к Екатерининскому тракту Вятка — Нижний Новгород, до южного, чуть загнутого домами к Большой Люе ее окончания, селение шло рядом с большим оврагом, по дну которого неспешно протекала сонная речушка Кугунерка. Мужики не раз сооружали на ее пологом повороте в конце деревни запруды, возили на конях ветви ивняка (чтобы

проросли), пихты (чтобы крепче держалась глина), валили дернину. Гать стояла иногда несколько лет, пока после многоснежной зимы вешняя вода не прорывала ее, унося с собой труд многих людей и, к огорчению рыбаков, подросшего карася с шаклейкой. В ребячьем возрасте Иван Демьянович не раз бегал на пруд с материнным решетом и мутовкой, приносил радости младших братишек несколько усачей или пару глупых по молодости щуренков.

II.

Огородец у матери занимал добрых полгектара. В самом начале, на задворках и в загумнах, его пересекали два оврага, густо заросшие диким малинником и смородиной, отнимая от полезного оборота не менее пятнадцати соток. Земли матери пока хватало, садила она картошку, капусту, морковь и другие овощи. Даже табак для Ванюшки, когда он стал работать еще зеленым юнцом на колхозной лошади.

За табаком на грядках он ухаживал сам. Нехитрой этой науке его выучил заядлый табакур дядя Егор. Материно дело было высадить в землю рассадку — остальное входило в Ванюшкины обязанности. Он старательно выщипывал вырастающие меж стеблем и листом побеги, которые назывались почему-то "отростылями", убирал появляющиеся соцветия, а перед уборкой — и нижние листья табака. Когда растения поспевали, он срезал их и ложил на неделю в кучу, но так, чтобы не сопрели. Пусть набирают силу. Потом стебли разрезались от корня до половины и вешались где-нибудь на подложке на шесть сушиться. После того, как табак немного в тени подсыхал, Ваня точил топор и мелко рубил листья вместе со стеблями. Потом сушил уже нарубленное в нежаркой печи на противне. И собирая, народ, закуривай!

В деревне тогда шло негласное соревнование на предмет, у кого табак выйдет лучше. Самый крепкий и приятный, не хуже алатырской махорки, получался у мельника дяди Ильи, который готовил самосад с особой тщательностью, добавлял какой-то травки для аромата, и курильщики единодушно признавали самое высокое качество махры именно у него. Никудышным считался табачок у деда Никиты. Он, похоже, во время сушки у него подопревал и приобретал потом какой-то невероятно кислый вкус, ел глаза и вонял силосом. Никто на дедов табак не зарился. А он, похоже, тем самым был доволен: меньше "стреляют" на заветки, особенно ребятишки, которые, не таясь, курили изредка даже надерганный из пазов в бане мох.

Когда поспевал самосад для курения, по вечерам к дому дяди Ильи начиналось паломничество.

Собирались табакуры почти со всей деревни. Старый мельник, тща свое самолюбие всеобщим вниманием, доставал из-за пазухи плотно набитый душистой махрой кисет, из кармана старого при заплатах на локтях пиджака вынимал аккуратно сложенную гармошкой газету, разглаживал ее на коленях и медленно, будто не сегодня надо, отрывал от нее аккуратный квадратик, как раз на сигарку. Потом доставал из кисета небольшую щепоть самсона, как называли самосад в деревне, ложил на бумагу, разравнивал пальцем табачные крошки. Слюнявил языком край газетной бумажки и сноровисто сооружал самокрутку. Поставив ее в пальцах на попа, ловко подравнивал ценное сооружение и небрежно совал его в рот. Разношерстная пацанва следила за каждым движением рук дяди Ильи, и стоило ему сварганить сигарку, как тут же кто-нибудь зажигал спичку и подносил к сигарке в надежде, что старый мельник не забудет услугу и угостит доброй щепотью знаменитого на всю деревню самосада.

Иван Демьянович вспомнил, как в первую военную 1941 года осень колхозный бригадир Силантий придумал даже "табачную" премию, которую самолично вручал отличившемуся на перевозке клубней с поля. Этой премии удостоивался и четырнадцатилетний Ванюшка.

Война подобрала многих молодых мужиков, они ушли на фронт. Работали на конях бабы да такие вот, как Ванька, недоростки.

Стояли погожие дни конца сентября. Работа в поле шла дружно. Ваня с Полиной Журавлевой, озорной солдаткой, маленькой и круглой, будто вьюшка, в паре на конях отвозили клубни с поля в деревню. Вдвоем потому, чтобы сподручнее было сносить в подполье и высыпать тяжелые четырех-пятипудовые мешки. Полина вот уже три месяца как проводила своего мужа на фронт и безмерно тосковала.

В тот раз они высыпали картошку в подполье Марьи Поликарповны. В доме никого не было. Они очистили уже обе телеги, перенесли не менее двух десятков тяжелых мешков и свалили их в подпол. Осталось высыпать из мешков клубни в отведенное место.

Первым, растолкав в сторону мешки, пролез в подполье Ванюшка. И сразу же принялся опоражнивать мешки. За ним пробралась и Полина. Мельком взглянув, Ваня заметил, как немного задравшееся ситцевое платишко оголило белые, как неснятое молоко, ноги молодой женщины.

— Ты, Ванька, больно-то не подглядывай, молод еще, — ворчливо сказала Полина. — Вот подрастешь...

Ванюшка обиделся:

— Нужна ты больно мне! Тоже тут...

— Ну, не сердись, милый. Я ведь просто так, с тоски, наверно, ругаюсь. Иди-ка сюда. Да не бойся, дурачок.

Ванюшка остервенело опростал из-под клубней мешок и взялся за следующий. На Полю он не смотрел.

Выгружая картошку, они здорово устали. Поля, высыпав груз, бросила под себя последний пыльный пустой мешок и навзничь упала, раскинув в стороны руки. В другом углу прилег на бок и Ваня.

— Черт бы побрал эти мешки! — ругнулась Полина. — Разве нам с ними возиться?

Помолчав, Полина спросила:

— Ванюш, а девки тебя любят? Чего молчишь-то?

И после паузы:

— А ты их любишь? — приставала Поля. — Эх ты, кавалер... Иди-ка сюда, хоть я тебя поцелую.

Иванко не на шутку испугался. Ну как кто увидит? Он, ничего не сказав, подальше отполз от коварной женщины. Когда собрался вылезать из подполья, Поля ловко перехватила его руки, привлекла к себе и крепко поцеловала в губы.

— Да не трепыхайся, олух царя небесного. Ничего я тебе не сделаю, — сказала Полина и горько заплакала. — Помрешь тут с тобой — и панихиду никто не закажет...

Еле живой, Ванюшка пулей выскочил из подполья, сел на телегу и что было сил, забыв про пустые мешки, погнал лошадь на картофельную плантацию. Весь день он работал как шальной, боясь смотреть в Полину сторону. Она к нему больше не приставала.

Опомнился он только поздно вечером на конном дворе, когда выпряг лошадь. Тут и нашел его бригадир Силантий.

На конюховке вечером, поставив лошадей, накоротке отдыхали от тяжелого дня люди. Курили, перебирали дневные события, смеялись, вспомнив смешное, переругивались.

— Сегодня больше всех отгрузила картошки пара — Полина Журавлева и Ваня Зверев. Поля, как вы знаете, не курит, так что два стакана махры причитаются сегодня Звереву, — торжественно объявил Силантий. — Так что подставляй, Ванька, карман. Качайте его, парни!

Поднялась невероятная толкотня. Кто за ноги, кто за подмышки пытались поднять Ваню вверх, но это не удавалось. Кто-то предложил закурить премиального табачку. Все дружно навалились на дармовщинку.

Когда они вместе шли с конного двора домой, Полина встревоженно попросила:

— Не вздумай о сегодняшнем матери рассказать, кавалер. Бабье радио тогда не остановишь. Со свету сживут.

— Да ты что? Я разве маленький, — отворачивая взгляд, ответил ей Ванюшка.

Полина улыбнулась и ничего больше не сказала.

III.

Березовая роща... Это здесь его родная матушка Аксинья Андреевна корчевала красивый лесок, в который они, ребяташки, часто ходили по грибы. Приносили в подоле рубашонки обабки, синявки и даже махонькие, в пять копеек шляпка, рыжики. Только березы в сорок втором году стояли другие, если бы их не убрать тогда, росла бы сейчас здесь березовая ядреная грива. Из бревен делай хоть лыжи, хоть ложи для ружей. Пусти на дрова — хватило бы вдове не на одну зиму.

Эти же березы, которые ласкал взглядом Иван Демьянович, выросли в годы запустения деревни, которое началось почти сразу же в послевоенное время.

Иван Демьянович осмотрелся. Вот там, за оврагом, стояла ладонь с овином, где хранили и сушили снопы, а иногда и солому. Неподалеку от гумна, на самом овраге, стояла банька по-черному, которую срубили когда-то два брата, Демьян и Егор. Баньки давно уже нет, как нету гумна и овина. Все развеяло время. Ушли из жизни и сами хозяева. Демьян погиб еще до войны, скитаясь в поисках заработка с продольной пилой по Уралу и Сибири. Егор, тяжело раненый на войне в голову, дотянул до шестидесяти пяти лет и тихо, никого не намучив, скончался.

В молодости дядя Егор отличался могучей силой, владел кузнечным и плотничьим делом, мог сложить печь, скатать валенки. Он был добрым мужиком. За свою недолгую жизнь не обидел ни одной человеческой души. В праздник он ходил в недалнее село к обедне и мог позволить себе выпить косушку зелена вина.

Иван Демьянович по рассказам бабушки помнит, что дядя Егор в молодости искал по осырку — у бани, овина, вокруг гумна, на старой задернутой меже якобы закопанное где-то тут еще прадедом Селиверстом золотишко. Он сделал в кузнице для прощупывания земли специальный двухметровый, с конца заостренный прут и занимался этим пустым делом несколько лет. Клад не нашел. Да и откуда быть золоту у деда-крестьянина, обремененного большой семьей? Дай Бог накормить досыта свое многочисленное семейство.

И еще одна примечательная черта отличала дядю Егора. Он любил озорные песни. Бывало, возвращаясь с сельской ярмарки навеселе, он еще на подходе к деревне заводил любимую:

*На Урал дорожка прямо,
А с Урала косяком.
На Урал ушел в ботинках,
А с Урала — босиком.*

Видя, что этой песенки явно недостаточно для того, чтобы привлечь внимание деревенского населения, дядя Егор менял пластинку.

*Собирался я жениться,
Так и думал, что женюсь.
Как увидел девок в речке,
До сих пор еще боюсь.*

Чтобы довести дело до кондиции, дядюшка добавлял к исполненному, войдя в деревню, еще один куплет:

*Мне милашка изменила,
Я с ума чуть не сошел.
Я в нетопленную баню
Зимой париться пошел.*

Услышав бесплатный концерт, на улицу высыпала ребятня. Заметив юных зрителей, дядя Егор начинал ругаться и тут же, к большому огорчению малолетнего населения, прекращал вокальные упражнения.

Но однажды озорника-дядю поддел на крючок не менее остроумный человек. Звали его Якимом, и жил он в соседней деревне.

В тот раз Егор Петрович возвращался из города, куда ездил продавать тес. Сделка оказалась удачной, и дядюшка возвращался домой в самом благодушном настроении. Увидев Якима, он остановил лошадь и поздоровался:

— Как, кум, поживаешь?

— Живем, хлеб жуем. Как поторговалось-то? — видя, что едет Егор из города, спросил Яким приятеля.

— Да так себе, немного везу вот на расходы.

Закурили. Справились о житье-бытье и, довольные друг другом, распрощались. Егор тронул вожжами о бок лошади: вперед, мол, дальше двигаемся.

Не успел Егор отъехать и нескольких шагов, Яким окликнул его:

— Эй, постой-ка!

Кум натянул вожжи.

— Егор, а ведь у ты ось-та в колесе.

— А, што? Че это? — засуетился Егор.

— Говорю, ось у тебя в колесе.

— Пошто?

— А хрен его знает.

Егор слазит с телеги, обходит ее и ничего такого не замечает.

— Ты че? — вдруг понимает Егор, что над ним подтрунивают. — Обманул, собака. Ну, погоди, я те ужо... — ругается мужик под громкий хохот Якима.

IV.

Иван Демьянович долго ходил по огороду, по той земле, где вырос, встал на ноги. Здесь, в загумнах, они с ребяташками часто играли в прятки, в войну и другие детские игры. Густой березник за оврагом, развесистые рябины у бани, густая черемуха сзади овина создавали обстановку

таинственности, рисовали сказочные сюжеты. И они играли здесь в братьев-разбойников, строили Бабе-Яге избушку, копали пещеру, чтобы найти в ней волшебную лампу Аладина.

Как быстро идет время! Где теперь те братья-разбойники, друзья детства? Где гумно с овинном, старая банька? Ведь все это было так давно, все исчезло, ушло так далеко, что никакая машина времени не поможет догнать.

День клонился к вечеру. Иван Демьянович стал подумывать, где на ночь приклонить голову. Деревня была большая, до войны в ней насчитывали шестьдесят два дома, в них ползали и бегали малые ребятишки, жили старики. Мужики были сильные, прочные, надежные во всем; женщины — крепкие, красивые, пышущие здоровьем. Сейчас в Крутовражье чуть больше десятка жилых домов, в которых доживают свой век главным образом старые женщины.

Куда подевался народ? Унесла жестокая война? Это и верно, и не совсем. Оставили свои жизни на войне три десятка крутовражских мужиков и парней. Сколько-то их, искалеченных, умерло сразу после войны, сколько-то спустя годы. Но это все-таки не подавляющая часть. Многие, подчеркиваю, очень многие, уехали из деревни в поисках счастья в пятидесятые и шестидесятые годы. Да и позднее уезжали. Потому как жить в деревне стало невозможно. А жить было надо. Надо было чем-то кормить и во что-то одевать детей, кормиться самим. Возможности такой колхоз не предоставлял. Если в годы войны деревня работала почти задаром, кормилась осырками, знала — там, на фронтах, ее мужики, и всем нужна победа, то в пятидесятые годы люди даром работать не хотели. А трудодни по-прежнему оставались пустыми. За невыработку их минимума даже старикам обрезали огороды.

“Жива ли Надежда Михайловна, соседка?” — подумал Иван Демьянович и, пройдя через ближний, густо заросший орешником овраг, через безлюдную деревенскую улицу, постучал в двери ветхого, в три покосившихся оконца, домика.

Михайловна оказалась дома. Гостя узнала, и это было отраднo. Она не просто постарела, а как-то усохла, стала ниже ростом. Но не разглядеть в ней прежнюю Надюшку было нельзя. Карие глаза старой женщины пристально рассматривали вошедшего. Остренький носик совался туда-сюда в поисках крючка на вешалке, чтобы повесить плащ, табуретки, чтобы посадить гостя к столу. Появилась томившаяся в загнетке печеная рассыпчатая картошечка, солонка, черствый, купленный в лавке хлеб.

Да и то сказать, Надежде Михайловне уже 75 и дай Бог каждому дожить до этих лет. Иван Демьянович, закусывая, внимательно поглядывал на хозяйку, мысленно ворошил прошлое. Сколько

помнил ее, а помнил с самого детства, она постоянно была в работе. Первой шла в поле на прополку льна, обувшись в новые лапотцы и взяв косу, спешила на колхозные луга, торопилась с серпом на плече на ржаное поле.

В годы войны на женщин взгромоздилась двойная тяжесть: на одно, правое плечо, лег колхоз, а на левое, которое послабже, — семья. Больше года тянула она лямку на лесозаготовках в республике Коми. Суженого убили на войне, и осталась она вековухой. Словом, досыта хлебнула и горького, и соленого. А пенсию назначили с гулькин нос.

Терпелив русский человек. На судьбу Михайловна не жалуется. Наоборот, вспоминает молодость, все военные тяготы с улыбочкой. Была беда, было всеобщее бедствие, да пережили. Переживем и не это. Только жить-то осталось всего ничего.

Вспомнили бабушку Настасью Петровну, старушку добрую, отзывчивую.

— Во время войны она была уже в годах, — рассказывала Надежда Михайловна. — По дому успевала так, что никому не угнаться. Успевала и матери твоей помочь, и другой снохе. У обеих ребенки, забот полон рот. А тут еще с фронта который месяц никаких вестей. Твоего дядю Егора, ее родного сына, тяжело ранило в голову, и увезли его лечиться куда-то в Сибирь. Долго он лежал без памяти. А бабушка думала: не погиб ли? Писем — тоже не было. Зачастила в церкву, ставила свечки, подавала “во здравие”. Наконец пришла ей в казенном конверте с треугольником бумага, иначе сказать, похоронка. Что тут началось! Бабы не один день выли в голос. Да разве это вырвешь у судьбы, война — дело жестокое.

Прошло так-то с полгода, слезы уж повысохли. И вдруг письмо из госпиталя, из какой-то далекой Читы. Почерк был не Егоров, и бабы снова давай реветь, то письмо еще не читавши. А когда прочитали, сразу поняли, что жив, немного поуспокоились. Письмо писал сосед по палате, потому что Егор лежал шибко пораненный...

Михайловна, глубоко вздохнув, продолжала:

— А потом тебя на войну взяли. Тут уж матери твоей пришел черед печалиться. Да и бабушка не ссужа к ней относилась. Вместе горе мыкали.

Надежда Михайловна говорила и говорила, будто спешила высказаться за долгое в одиночестве молчание. Иван Демьянович уже начал подрывать, веки тяжелели, голова клонилась к столу. Заметив такое его состояние, Михайловна быстрехонько соорудила на деревянной скрипучей кровати в сенях постель и предложила гостю пойти отдохнуть.

Утром за завтраком Надежда Михайловна вернулась к вчерашнему разговору:

— Не забывай мать свою, Ваня. Святая она. Сколько лиха хватила, на троих достанется. Ну-ка одной остаться с четырьмя малыми детьми! Умер твой отец еще до войны, достатку ей не оставил. Коровенки и той не было.

Помню, пришла она как-то ко мне и ревет: сон, мол, плохой видела. И рассказывает. Идет будто войско большое, и ты тут же шагаешь. Впереди река. Река бурная, с крутыми берегами, и надо ее переплыть. Вошло войско в воду, а вода вдруг вспыхнула, горит жарким пламенем. Ты в середине той горящей реки, и кричишь: “Мама, спаси!” Тут и пробудилась Аксинья Андреевна. Еле дождавшись рассвета — ко мне, сон рассказывать.

Подумали мы, что на войне тебе трудно приходится, и останешься ли жить — одному Господу Богу ведомо. Писем от тебя тоже долго не было, и мать подумала: или ранен тяжело, или вовсе погиб. Отправилась в церкву, попросила батюшку помолиться за тебя, дюжину свечек перед образами святых угодников и Божией Матери-заступницы поставила. Сама помолилась старательно. Вернулась успокоенная, тихая, получив надежду на благополучное твое возвращение домой.

А знаешь ли ты, Ваня, как поднимала она за дальним оврагом, в загумнах, старую залежь, корчевала лес? При тебе это еще было? Тогда ты знаешь. Не приведи Бог никому такую работу...

Иван Демьянович кивнул головой утвердительно. Та березовая роща, с которой возилась мать почти целое лето, стоит перед его глазами, как живая и сегодня. Когда проводили в деревне где-то перед колхозами землеустройство, эта земля перешла к ним во владение на правах собственности. Конечно, без права передачи другому человеку и тем более ее продажи. Первое время она семье была не нужна, земли хватало рядом с домом. Участок медленно, но верно зарастал березняком и, чтобы убрать его, требовались неимоверные усилия.

Они поговорили с Надеждой Михайловной еще какое-то время, повспоминали общих знакомых, и Иван Демьянович засобиравшись в обратный путь.

— Спасибо, Михайловна, за хлеб-соль, за уют, — сказал Иван Демьянович. — Увидимся ли еще?

— Нет, Ваня, больше, похоже, не увидимся. Живешь ты далеко, в городе. На похороны не приглашаю, все равно не приедешь. Спаси тебя Господь, милый человек. И дай тебе Бог здоровья на долгие годы.

Иван Демьянович обнял старушку, поцеловал ее и, круто повернувшись, покинул гостеприимное пристанище.

У.

Иван Демьянович осмотрелся. Да, именно вот здесь, у небольшой боковой выемки оврага, по дну которой проходила тропинка, он привязал тогда к березе лошадь. Береза была старая, корявая, и убирать ее мать не стала. Пусть пока стоит, потом пригодится на дрова.

Мать еще раз обошла рожицу, как бы примериваясь, с чего начать. Берез на участке стояло много. Были среди них и такие (десятка полтора), диаметр у основания которых составлял не менее двадцати сантиметров. С них она и решила начать.

Возле первого дерева тщательно вытоптала лаптями траву, высмотрела, как расположены корни.

Корни были крепкие, и мать взялась за топор. Накануне Ванюшка сходил на конюшню и попросил сторожа дядю Харитона наострить его на водяном точиле. Сегодня хотел он взять мужскую работу на себя, но мать не пустила.

— Еще намаешься за долгую жизнь. А мне не привыкать. Когда понадобится, скажу.

Мать взяла в руки топор, как заправский мужик. Рубила долго. Корни были в земле крепкие, топор рикошетил, и настоящего удара лезвием по древесине не получалось. Она распрямилась, вытерла со лба обильный пот и принялась ронять дерево. Падать береза не собиралась. Мать уперлась в ствол всем сухоньким телом, стала его раскачивать. Но и эта попытка успеха не имела. Береза стояла крепко и расставаться с родимым местом была не намерена.

Взмокшая от неимоверных усилий, мать села рядом с непокорным деревом.

— Что же это получается, Ваня. Выходит, не по силам нам с тобой мужская работа, а? Чего молчишь-то?

— А если лошадью, мам?

— Давай попробуем лошадью.

Ваня достал припасенную веревку, привязал концы ее к гужам хомута, а другой конец, сдвоенный, привязал к стволу дерева на уровне своей головы. Потом взял лошадь под уздцы и тихонько потянул ее за собой.

— Но-о, пошла, милая! — прикрикнул Ванюшка. — Пошевеливайся.

Веревка туго натянулась, но береза и не думала падать. Ваня сильнее принялся погонять лошадь, раза два хлестнул ее по боку хворостиной. В конце концов конь рванул веревку, она с треском лопнула, лошадь захрапела и ткнулась носом в землю.

Уронить березу с помощью лошадиной тяги не удалось. Ванюшка сел на траву и чуть не заплакал от обиды. Уж он ли не старался как-то помочь матери, но ничего не получилось. Мать сто

яла рядом и о чем-то думала.

Рядом зашелестели кусты, и на шум в березняке заглянул бригадир Силантий.

— Что это ты задумала, кума? Вроде березы убрать собралась? Да, дело это подходящее, вишь как разрослись. А толку что? Разве что дров поленища выйдет, не больше. Помог бы я тебе, да своих делов не впрокорот.

— Да мы как-нибудь уж сами. Только не получается у нас ничего. Придется, видно, бросать раскорчевку.

— Ты, Аксинья, гляжу я, целиком дерево сразу хочешь свалить. Это и мужику не каждому под силу. Думаю, надо сначала спилить березу, а потом пеньки выдрать. Скорее так-то получится. А целиком только мелочь выдирай.

Доброго совета Силантия послушались. Ванюшка отвел лошадь на конный двор, принес поперечную пилу, и принялись они с матерью за тяжкое дело по-новому.

С пяток берез, которые побольше, они свалили и распилили на саженные сутунки еще до обеда. Ваня сделал из толстого березового сучка пару клиньев и комельные тюльки раскалывал пополам. Потом сложил их на краю участка, чтобы можно было потом превратить в дрова.

Они с матерью спиливали толстые березы целых пять дней. Уставали, как мужики на лесоповале. Вечером не хотелось даже есть. Рука от непосильной работы дрожала и ложку со шами трудно было поднести ко рту, ее трясло как комухой. Мать, прежде чем сесть за стол, шла уделываться у скотины. Наливала корове ведро помоев (с пастибища во двор загоняла ее и овечек бабушка Настасья), заваривала поросенку в шайке куколь, выливала ему в корыто. И только после этого сама садилась за стол.

Так они работали долго, очень долго, забыв про отдых, как только позволяло время.

Убрав с участка спиленные деревья, принялись за пеньки и березовый подгон, мелколесье. Срубать деревцо с руку особого труда не составляло. Два-три удара топором — и оно убиралось в сторону. Но это была первая и самая легкая часть дела.

Самое трудное заключалось в другом — как убрать пенек, даже самый маленький. Мать ходила с топором возле каждого, наверное, не менее получаса: срубала малые и большие корни, сколько возможно было, вытаскивала обеими руками из земли. Помогал ей в этом и Ваня. Лишь после немалой подготовительной работы, когда главные подрубленные и срубленные корни позволяли просунуть меж них веревку, подключалась на подмогу лошадь. С ее лишь помощью да и то не сразу пенек, как ядреный зуб у незадачливого врача, сверкая белыми ранами от топора, с треском выдирался из земли-матушки. Вдох облегчения

оглашал тогда округу, из души проливался крик хотя маленькой, но победы. И так от пенька к пеньку, от пенька к пеньку, без перекуров переходили они, расчищая участок. Поляна становилась все шире, все больше солнца устремлялось в затененный овраг. И вот наконец последний среднего калибра пенек, к которому Ваня привязал разлохматившуюся веревку и понужнул лошаденку. К счастью, с ним обошлось все хорошо, и Ваня перетащил его в большую кучу корявых собратьев, чтобы потом, когда выпадет свободное время, все их разделить на дрова.

Солнце клонилось к закату. Мать повернулась в противоположную сторону, на восток, встала на колени, истово перекрестилась и вознесла молитву Всевышнему:

— Слава тебе, Господи, помог нам сделать такое дело, о котором и подумать боялась. Спаси, Господи, и сохрани нас грешных.

Мать, стоя на коленях, что-то долго еще шептала. Ваня видел это по ее шевелящимся губам.

...Иван Демьянович вздрогнул, будто стоя уснул, и вдруг очнулся от забытья. Да, все то, о чем он только что вспомнил, было в его жизни, в жизни его родной матери Аксиньи Андреевны Зверевой, когда ей было чуть больше тридцати лет, и тяжкая судьба заставила ее сделать невероятный шаг, чтобы не дать семье помереть с голоду.

Вскоре после корчевки мать попросила кума Силантия вспахать очищенный заовражный взлобок под зябь. Сделать хотел это сам Ваня, но мать сказала, что вспашка целины да еще после выкорчевки леса не мальчишеских рук дело.

Весной здесь Аксинья раскидала ячмень, по яровине подсеяла и мелко заборонила ветками клевер с тимофеевкой. И стала ждать. Ждать хлеб для семьи и травы для коровенки.

И дождалась. Осенью они выжали и намолотили более десяти пудов ячменя, накосили и сметали добрый стожок клеверного, очень хорошего для коровы сена. Намелет теперь Аксинья муки, накрутит на жерновах крупы для каши.

Поздней осенью 1943 года призвали на войну Ивана Демьяновича. К счастью, он остался жив, не получил ни единой раны, хотя был во всяких весьма серьезных переделках. Отступал, выходил из окружения, бросался с бойцами роты в атаку. Как говорится, прошел огонь, воду и медные трубы. Прошел жестокою школу жизни. И можно о том написать еще не один рассказ. Но об этом, если будем живы, как-нибудь в другой раз.

Пока же мы оставляем Ивана Демьяновича в загумнах на родном ему осырке в размышлении о бренности бытия, с воспоминаниями о прошлом. Оставляем в добром здравии и согласии со всем сущим на земле.

Июль 1992 г.

Стожок для коровенки

Полянка была светлая и радостная, вся усыпанная земляникой. Санька уселся на подсыхающую скошенную траву и усердно стал собирать в берестяной бурачок сочные, будто пролитые там и тут капли янтаря, некрупные ягоды. Это было первое, ни с чем не сравнимое лакомство, которое дарило деревенским ребятишкам лето.

Санька так увлекся приятным делом, что совсем забыл, зачем его послала мать в лесной затертый уголок. Здесь, вот на этой полянке, который уже год, договорившись с лесником, мать косила траву, брала сено для своей Буренки. Корова была небольшая, много корму не требовала, а доила подходяще. Вся большая семья, состоявшая из матери и четырех малолетних детишек, получала от нее пропитание. Мать нередко задумывалась: как бы жила она со своей несмышленной оравой, если бы не корова? Хлеба на трудодни колхоз не давал, все, что выращивалось, кроме семян, отправлялось на ссыпной пункт. Людям выдавали поздней осенью разве что крохи после веялки, которые можно было назвать хлебом с большой натяжкой. И все-таки это были отходы ржи или ячменя. Мать сушила на печи шуплое раздробленное зерно с примесью семян лебеды, размалывала на мельнице, а потом смешивала муку с приготовленной на жерновах горькой темной массой из пустых головок клевера или измельченных стеблей прошлогоднего малинника. Испеченный из такого добра хлеб, колючий и вязкий, будто сама наша вятская земля, когда с нее только что сойдет по весне снег, душа никак не принимала, и проглотить его можно было лишь с молоком или с простоквашей.

В Дарьиной (так звали мать) семье хорошо понимали: не будь коровы, для всех пришла бы погибель — ложись на лавку да помирай. Поэтому каждый старался чем-то уважить Буренку, когда она возвращалась с пастбища. Младший Гераська нес ей в подоле холщовой рубашонки сочной, только что нарванной в недалеком овражке травы; сестра Аниска успевала когда-то натереть молодых кашек белого лугового клевера; по годок ее, Колька, норовил сунуть коровенке припасенную для себя кисленку. И сама мать не оставалась в стороне, бренча подойником, несла вечером кормилице густо усыпанный крупной желтой солью кусок эрзац-хлеба, который та съедала с явным удовольствием.

Двенадцатилетнему Саньке, белобрысому и вихрастому, как старшему из ребят, мать поручила наиважнейшее дело — заботу о сене. Косила, правда, она сама, но Санька был самым первым ее помощником. Он высушил и уже прибрал на сарай весь клевер со своего участка на

огороде, за оврагом. Получалось неплохо, корму теперь должно было хватить на добрую половину зимы. Но ползимы — это еще не вся зима, и потому вот Санька в лесу. Увлечшись ягодами, он вспомнил о материнском поручении, когда солнце поднялось выше молодых березок и стало нестерпимо припекать.

Саньке предстояло перевероршить сено, дать ему проветриться, а через часок-другой сгрести его и сложить в стожок у старой обгоревшей осины, которую загубила когда-то молния. Взяв прихваченные с собой грабли и вилы, парнишка споро повел знакомое уже дело. Один за другим тащил он к приготовленному месту тяжелые для его жидковатых рук навильники сена, пахнущего свежими березовыми вениками, лесным ландышем и земляникой.

Возился с работой он долго. Солнышко заметно подалось к Головкиному болоту, где — Саньке это было хорошо известно — жили черти. Именно здесь, как думал Санька, собирались ведьмы на шабаш.

Однажды вечером, прошлогодней сухой осенью, когда они с матерью пилили валежник на дрова, он сам видел, да и мать тоже, как свалился в болото с небосклона большой огненный шар и исчез в его никем не измеренной глубине. Санька, разиня рот, ждал, когда все вокруг вспыхнет жгучим пламенем, но так и не дождался: огненный шар куда-то исчез. Мать на ходу испуганно крестилась и шептала молитву.

На другой день деревенская ребятня большим отрядом уже исследовала болото в поисках небесного чуда — им страсть как хотелось перенести остывший шар, если найдется, в свою школу, показать его добрейшей Марии Федоровне, учительнице. Огненный, думали они, исчез в пучине, в чертовой берлоге. Но ничего у них не получилось, шар не нашли. Вот тогда-то и поползли по деревне слухи: быть войне!

И верно, меньше чем через полгода пришлось крутовражским мужикам собирать в котомки ложки-кружки и сухари. Уже через неделю под рев баб и ребятишек всей деревни первая партия из восьми человек отправилась с повестками в райвоенкомат. За ней пошла вторая и третья, пока деревня, досыта не наревевшись, немного поухтила.

Вместе со всеми поближе к осени ушел на войну и Санькин отец, пахарь и сеятель, плотник и столяр, одним словом, русский мужик, для которого, как и для многих других деревенских людей, судьба огромной России была и его собственной судьбой.

Мать, вернувшись из села, куда ходили про

вожать служивых, собрала свое потомство за стол, в последний раз накормила чистым ржаным хлебом с молоком и твердо сказала, скорее сама себе:

— Поревели и хватит! Жить и в войну как-то надо. Будем к нужде привыкать, отца-то теперь нету. Кто о нас позаботится?

Пришлось о себе заботиться самим...

Санька свершил стожок, на случай дождя закрыл его хрусткой прошлогодней травой, прижал его сверху спаренными березовыми ветками. Откладывать переправку сена на потом он не собирался, но мало ли как повернется дело? Мальчишка отступил несколько шагов в сторону, посмотрел на стожок, обошел вокруг, причесал его граблями и, довольный, отправился в деревню, припрятав в укромном местечке принесенные с собой вилы с граблями и топор.

Ребятишки собрались уже все к столу, но мать что-то задерживалась на ферме. Вот уже скоро год она там работает. Как только взяли отца на войну, она вскоре попросила председателя дать ей на попечение группу коров: четыре ребячьих рта надо было чем-то накормить. А на ферме, известно, трудней начислялось поболее, чем на какой-либо другой колхозной работе. Весной она получила целых пять пудов ржи из-под веялки, немного отходов ячменя для крупы и даже, на радость детям, целое ведро сладкой патоки. Тогда говорили, что сделали патоку на заводе в какой-то Шаранге из картошки, которую сдал колхоз в счет второго плана госпоставок.

Санька, на правах старшего, достал из печи пустые ячневые щи, забелил их молоком, отломил всем по куску уже знакомого нам хлеба, налил в большое блюдо простокваши, посыпал туда земляники и скомандовал начинать. За еду принялись дружно. Когда мать пришла немного отдохнуть, а уходила она чуть свет, было съедено все до крошки. Аниска прибирала со стола.

— Как с сеном-то теперь быть, Саня? — спросила мать. — Домой бы его. — А что, сейчас вот и пойдем, — сказала шустрая на подъем Аниска. — Айдайте поскорее.

— Поскорее! — передразнил сестру Санька. — А как его тащить-то, может, в подоле? Много ты у нас принесешь, там этого сена носилки три будет, а то и больше.

— И верно, — согласилась мать. — Лошадь бы запрячь... Схожу-ка я к председателю.

Поздно вечером, когда Дарья подоила корову и чем Бог послал отужинали, к лесу двинулась небезынтересная процессия. Впереди старой кобылы Лысухи, еле переставлявшей растопыренные в стороны лохматые, без подков, с растоптанными копытами ноги, важно вышагивала Аниска. Она тянула лошадь за повод. С разбитой, на деревянном ходу допотопной телеги, свесил голенастые, все в цыпках, ноги Санька. В

руках он держал расхристанные веревочные вожжи — знак управления мощным двигателем в одну дряхлую лошадиную силу. Следом за телегой, держа за руки Кольку с Гераськой, тащилась мать.

Эта торжественная процессия добралась до заветной полянки еще засветло. За работу принялись не мешкая. Мать, поставив Саньку на телегу укладывать воз, один за другим подавала ему увесистые пласты сена. Уставшие за день на коровнике руки заметно дрожали, поднятая вверх тяжелая охалка норовила упасть не туда, куда хотелось. Под конец она вовсе выбилась из сил, пот с лица лил градом, дрожали колени. А сена, кажется, не убывало.

— Мама, отдохни! — кричала Аниска. — Дай лучше я.

Светлая улыбка тронула лицо матери, вроде и сил прибавилось после таких слов жалостливой дочери. Она поставила вилы острым в землю, на тугой конец черенка положила ладони согнутых в локтях рук и минуту-другую постояла так, отдыхая. Невысокая щуплая женщина, когда-то веселая и улыбчивая, мать после проводов отца на войну как-то потускнела и увяла. Редко можно было услышать ее смех или озорную шутку.

Вскоре возок был сложен, получился он не ахти какой, но прибавка к кормовому запасу получилась неплохая. Мать радовалась и благодарила удачливую лесную полянку, старательного Саньку и всю свою ребятню, что есть мочи помогавшую ей, одинокой женщине.

В обратный путь отправились в несколько другом порядке. Санька теперь шел впереди и тянул уставшую конягу под уздцы, мать, упершись плечом в заднюю часть воза, помогала лошади. Детишки, что тараканы, крутились на ходу вокруг жутко скрипевшей всем нутром несмазанной телеги. Сколько ехали они по пыльной дороге возле коровьего прогона, кто знает, минут считать было некогда. Главное — дотащились, сено привезли, а остальное значения не имело. Санька, гордый тем, что большое дело сделано, отправился на конный двор выпрягать Лысуху.

А утром за сеном пришли. Санька сквозь сон разобрал, что мать с кем-то громко разговаривает. Когда он проснулся совсем, то услышал твердо сказанные матерью слова:

— Не отдам, лучше не думай! А милицией меня не страшай, я те не воровка. У меня разрешение...

— А кто ты такая есть? Самая настоящая! Лесчей? Государственный. А трава, сено, стало быть, чье? Вот и подумай, кому принадлежит. А насчет лесничества мы еще посмотрим, ох, посмотрим! В колхозе корму кот заплакал, а они...

— Вот бери косу да валяй, помогай колхозу.

К воротам Дарьиного подворья мало-помалу, привлеченный шумом, собрался народ.

— Уж не тебе ли тогда, дорогой наш и уважаемый Егор Тимофеевич, все вокруг принадлежит? — растолкав людей и возникнув перед лицом лысоватого небольшого человека, нарочито вежливо вопрошала бойкая на язык солдатка Марья Сениха. Он стоял перед нею в огромных, донельзя выпачканных в навозе кирзовых сапогах, в черной в мелкий белый горошек рубахе, подпоясанной узким сыромятным ремнем, годным разве что повеситься. Под мышкой у него торчал сложенный пополам брезентовый портфель. Нетрудно было заметить, что мужичонка оказался на полголовы ниже дородной сорокалетней солдатки Марьи.

— Ведь ты у нас как раз самая большая шишка и есть, — наступала Марья. — Видит Бог, самая большая.

— Вот посмотреть бы! — захохотали бабы.

— Нечего у него смотреть, не в сучок он растет, а в плешь, — не поддержала подружек Марья. — Его и на войну-то не берут зачем-то, а в Комию лес рубить — кишка тонка. Вот с бабами да с ребятишками воевать ты мастак, Егор Тимофеевич. По дворам шляндать, обиду людям творить. Это ты можешь, тут ума не надо. А пораскинул бы ты своей деревянной башкой, чем Дарья корову кормить будет? Ведь четверо у нее, может, не знаешь, ирод? Загее как быть, а Сане Васихе? Ведь тоже все сено выгреб, чтоб тебе подавиться!

В обычное время совсем не сварливая женщина, тут Марья Сениха совсем разошлась. Она вплотную подступила к Егору. Мощная, выпирающая из-под застиранной ситцевой кофтенки грудь колыхалась перед самым его носом, не бабий крепкий кулак ее держал путь в том же направлении, то есть к лицу супротивника.

Егору Ключеву, несменяемому секретарю Бугровского сельисполкома, оставалось одно из двух: или с позором отступить, плюнуть на сердитую бабу, или постоять за себя. Он выбрал последнее.

— Ты не оскорбляй, не оскорбляй! — засуетился Егор. — А то не ровен час...

— Уж не в тюрьму ли посадишь, злодей? Да я тебя, недоделанного, соплями умою, если захочу, только руки марать неохота, дезертир проклятый!

— Да какой я те дезертир! — вскипел Ключев. — Ты что, белены хватил? Люди, че она мелет? Не дезертир я, по состоянию здоровья... Врачи знают.

Егора никто не слушал. Вся деревня, весь сельсовет знали, что до войны он ничем не хворал, ходил, как все парни, на молодежные вечера, гонялся за девками, которые почему-то сторонились его. Когда же мужиков и парней стали во множестве отправлять на фронт, Егор Ключев ско-

ропостижно захворал, стал его морить кашель, появилась сильная одышка.

Выдала его деревенская знахарка и повитуха бабка Лукерья. Однажды, выпив с устатку шкалик наливки, она призналась одной своей близкой подружке, что Егоркина болезнь — ее стараниями. Дала ему разок-другой подышать дымком одной высушенной травки — и порядок. Стоило это Егорке, понятно, кое-каких расходов, но он для пользы своей не поскупился.

Вскоре после выбраковки от фронта подчистую Егорка Ключев из колхозных счетоводов перешел работать в сельсовет. Здесь его способности развернулись во всю ширь. Нет, он не особенно, как другие, рвал гужи при выполнении плановгоспоставок и финплатежей, делали это агенты уполнаркомзага и райфо, председатели колхозов, а они были тогда в каждой деревне. Егорка высмотрел другую стезю, не пыльную и доходную.

Горькие слезы проливали в ту пору эвакуированные из Великих Лук и Новгорода, обремененные малыми детьми женщины. Война — время жестокое, в деревне продовольственных карточек не выдавали. А есть-пить нужно. Вот и шли к столоначальнику Ключеву обездоленные за помощью. И он помогал. Конечно, не за так. Несли Егорке обручальные кольца, памятные серьги, броши, посуду и разное барахло, которое сумели уберечь в пути от бомбежек, от фашистских стервятников. Дома вечером одной он набирал в подполье ведро старой картошки, другой насыпал два-три блюда гороховой муки для киселя, третьей несколько фунтов ржи или ячменя. Все это шло в дело от прежних, довоенных лет запасов. Тех, которые помоложе, приглашал Егорка на приятную беседу в темную клеть.

Об этих примечательных ключевских занятиях знала вся округа, но жаловаться боялись. Хоть мал Егорка ростом и чином, пакость умел учинить большую. Мог просто поднести обидчику внеочередной налоговый лист или вручить приехавшему из госпиталя фронтовику внеурочную повестку для отправки малолетнего сына в голодную школу ФЗО под Свердловск или в Киров. Пошумит, бывало, человек, погрозит Егорке да с тем и останется. Разные фин- и заготагенты, как правило, на отдых останавливались у Ключева и могли, не глядя, подписать любую Егоркину бумагу. Поди потом доказывай, что ты не козел. Докажешь ли? На свете бушевала огромная беда, и Егорка Ключев нахально говорил: война все спишет!

Наша невеселая история подходит к завершению. Сколько ни шумели тогда бабы, сколько ни защищали Дарью, сено у нее Егорка Ключев все-таки отобрал, отправил на общий двор, ребятишек ее малолетних не пожалел. Марью Се

ниху увез под конвоем специально приехавший из Кикнура милиционер и посадил ее в камеру предварительного дознания покормить клопов. Понесла Марья кару за оскорбление личности ответственного работника Егора Тимофеевича Ключева. Что касается Дарьиной коровенки, то зиму она перебедовала. Правда, пришлось многодетной матери, чтобы не оставить семью без молока, заменить лесное душистое сено старой, с прогилью, соломой, содранной для пользы дела с крыши собственного сарая.

Да, многое списывалось в то далекое тяжелое время таким прохвостам, как Егорка Ключев. И все же, чтобы не погрешить против истины, скажу, что списалось ему все-таки не все.

Вот как это случилось. Вернувшись с войны, солдаты, прошедшие огонь и воду, проползшие по-пластунски через медные трубы до самого Берлина, однажды в какой-то летний праздник пригласили Ключева за компанию выпить. Дармовщину Егор любил и согласился уважить фронтовиков. И вот, подвыпив, учинили они допрос насчет того, как он тут дома, без них, правил власть, как помогал бедным солдаткам да вдовам, их осиротевшим детишкам. И выложив все, что о нем думали, многотерпеливые мужики жестоко избили Ключева и бросили в крапиву, что вымахала за первыми опустевшими избами в рост человеческий. Били его за то, что увильнул от

фронта и сохранил свою поганую жизнь. Били за обиды, нанесенные вдовам погибших бойцов за Отечество. Били за подлость и лихоимство, за тот позор и грязь, которыми запятнал он весь сельсовет перед женщинами из Новгорода и Великих Лук. В общем, выдали Егорке за все, что заслужил и, как говорится, за три года вперед.

Егор Ключев прожил, говорят, долгую жизнь. Но не в радость себе. Первая, военных лет, жена, не вытерпев его походов по чужим гнездам, ушла из проклятого дома. Недобрая память людская преследовала его постоянно. Каждый, где бы Ключев не появлялся, показывал на него пальцем, как на чумного. Ребятишки дразнили его "какой". Богомольные старушки, Егоркины сверстницы, при встрече с ним отворачивались, трижды сплевывали и усердно крестились на старую деревянную церковь без колокольни, дабы снял Господь с их души этот невольный грех.

Пролетели, промчались годы, как ветры на крутовражском голом поле. Давно поседели головы у ребятишек военных лет. Многие ушли уже на покой в мир дальний и печальный, под сень родных берез и тополей.

А Санька? Где ты теперь, Санька, память моего далекого детства? Если жив, то отзовись, очень тебя прошу.

1988 г.

За ситцами

— Ефим из Москвы приехал! Ситцу привез.

Эта весть быстрехонько облетела всю деревню. В каждом доме обсуждали: сколько привез да какого ситцу?

К дому долговязого Ефима, по прозвищу Журавель, потянулись любопытные. И вскоре народу у Ефима была полна изба. Хозяин, развываясь, сидел в переднем углу под тяблом с образами, разглаживал ладошкой толстые усы и покуривал. Вокруг стола мельтешила орава Ефимовых ребятишек в драных портках и в сползающих с плеч рубашонках.

— Нашьет теперь Анна ребенкам, всех приоденет, — завистливо судачили соседки, поглядывая на большой, добела вымытый некрашенный стол, где красовались московские покупки хозяйина.

А на столе и в самом деле лежало много чего, на что не грех было посмотреть. На самом конце красовался добрый кусок плотной сероватой хлопчатобумажной материи — на штаны хозяину и мальчишкам. Рядом с ним лежал порядочный отрез белого с голубыми васильками ситца — Ефимовой хозяйке и дочкам. Поверх василько-

вого куска громоздились еще отрезы: белого сатина, тонкой коричневой ткани в белый горошек — шей хоть кофты девкам, хоть рубахи мужикам, красивые женские головные платки с нарядным рисунком по краям и другие малые и побольше штуки доселе невиданного в деревне добра. Да и откуда ему быть, этому добру, если крестьянская семья сама себя одевала: сеяла лен и готовила себе одежду. Приготовление волокна, вылежка тресты, мялка-трепалка ее и кудели, скручивание нити, ткацкие работы настолько изнуляли женщину, что к сорока годам она становилась старухой.

Бабы-соседки поразевали рты. В Москву за товаром ездили из деревни немногие, потому как поездка сопряжена с большими хлопотами. Перед войной в колхозе на трудодни стало доставаться хорошо, к тому же мужики долгими зимами не бездельничали, подрабатывали дольной пилой — пилили тес, пол и возили в Яранск, ближний город, на базар. Деньжонки в кармане кое у кого начали шевелиться, но полки в потняковской потребиловской лавке давно зияли пустотой, и, чтобы одеть семью, надо было ехать в

Москву. Столица повернулась к вятским крестьянам, переставшим сеять лен на единоличной полосе, своей щедрой стороной, и крутовражские мужики вот уже который год ездили в белокаменную по своей нуждишке.

Такого щедрого разноцветья фабричного товара бабы давненько, со времен НЭПа в двадцатых годах, не видели, и горели их сердца жгучей завистью к Анне, Ефимовой жене. Анна, будто чувствуя настроение товарок, убрала свое богатство в соседнюю комнатку и стала собирать на стол к обеду.

Вечером собрались к Ефиму мужики. Важно беседуя за столом, Ефим рассказывал:

— Приехал это я, братцы, в город и, не пове- рите, испугался: дома кругом — на крышу не гля- ди, шапка упадет, вот сколь высоки, народу кру- гом — тыщи, и все куда-то торопятся, бегом бе- жат. Ездили мы в Москву вдвоем с шурином, он от Макаровских, товару привез поболее моего. Вышли с ним на площадь у вокзала, глянули — толпа. Одни в одну сторону чешут, другие — в другую. А кто куда — не спросишь. Да и зачем? Затужили: а нам-то в котору сторону? Протолка- лись к милиционеру, спрашиваем: куда идти? Он нам: то есть как куда? Зачем, мол, вы и откуда приехали? Так и так, говорим, вятские мы. А, улыбается он, вятские — ребята хватские. Это не вы корову на баню затаскивали, чтобы траву на подловке съела? Нет, говорим, мы не затаскива- ли. Милиционер еще пуше смеется: а, так вы еще и отпираетесь! А потом посерьезнел и спра- шивает: зачем, мол, в Москву-то приехали, ми- лые? Как зачем — за товаром. За каким? Долго мы толмачили, пока он не понял, что нам нужен магазин, где продают разные ситцы на рубахи и сукна на штаны. Опять рассмеялся милиционер и стал рассказывать, где находится большая тор- говая лавка по имени Универмаг.

— Садитесь вон на тот желтый трамвай и через пять остановок вылазьте, — сказал милиционер. — Там спросите, как пройти на Красную пло- щадь, торговые ряды растянулись по всей этой площади. А в них — что твоей душе угодно, кро- ме разве что птичьего молока.

Сели мы на тот трамвай, поехали. С грехом пополам нашли ту большую площадь. Тут вот, братцы, самая середина Москвы и есть! С одной ее стороны огромная, воробью не перелететь, стена с кривыми шипами да башнями, с другой — тот самый магазин, про который говорил ми- лиционер. Не поверите, это не дом, а целая улица о три этажа, полезай на каждый, выбирай, что тебе надо, пристраивайся в очередь и покупай.

Ходили мы по этажам целый день, набрали всякой всячины, уложили в котомки — и на вок- зал. Слава Богу, все обошлось, съездили благо- получно. Кое-что привезли вот.

Мужики, густо дымя махоркой, одобчительно

гудели, похваливали Ефима за находчивость. Выспрашивали подробности поездки; кое-кто со- ображал уже, как бы самому скатать в столицу, а то вся семья пообносилась настолько, что стыд- но показаться на людях.

В ту пору, когда Ефим рассказывал о своем неблизком путешествии, по деревне, от дома к дому перебегали соседки и сообщали друг дружке по секрету важную новость: завтра потняковский продавец Егор Иванович едет в Кикнур за това- ром. Рано утром, не сплосав, надо бежать в село и занимать у лавки очередь.

Утром, чуть свет, полдеревни как ветром вы- дуло. Забыв о строгом бригадире, о том, что он обязательно даст наряд на работу, бабы, не спро- сясь, упорол в село. Да ведь, подумать, кто бы их отпустил, когда в поле надо было полоть лен, вывозить навоз на паровое поле и чистить хлевы.

Самой проворной в том деле оказалась Марья Сениха, которую звали так вместо отчества, по имени недавно умершего от фронтовых ран мужа Семена. Женщина молодая и одинокая, она лю- била форсисто одеться, выпустить из-под платка челку, слегка нарумянить щеки свекольным со- ком. И купить несколько метров ситца на коф- точку ей было донельзя необходимо. Марья еще с вечера, не уведомив о том товарок, как только стемнело, по овражку за овинами отправилась в Потняк к знакомой подружке. А после полуночи обе они уже стояли у крыльца запертой на два амбарных замка лавки. Стояли первыми.

Егор Иванович привез товар поздно, где-то после полудня и, выгрузив тюки ситца и другого позарез нужного мужикам и бабам добра, отпра- вился обедать. Пока продавец хлебал щи, у лав- ки собралась большая толпа. В ней выделялась группа здоровых степинских мужиков. И стоило Егору Ивановичу, потряхивая ключами, появить- ся у магазина, как степинские окружили его и повели к запертым дверям.

— Разойдись, народ! — закричали они. — Да- вайте по порядку... Да не толкайтесь, бабы! А то неровен час...

Степинские стали хватать женщин за бока, а то и за что другое. Поднялись визг, крики. По- летели матерные слова. Вышло так, что с деся- ток степинских мужиков вошли в магазин вместе с продавцом и закрыли за собой двери на засов. Шум возле магазина усилился, явная несправед- ливость Егора Ивановича к степинским всех до- вела до белого каления. Народ поуспокоился толь- ко тогда, когда нахальные мужики с товаром под мышкой удалились домой.

Марья Сениха попала в лавку не в числе пер- вых, а где-то не ранее чем в третьем десятке. К счастью, несмотря на все передраги, ей кое-что досталось и ушла она не с пустыми руками.

Так начались в нашей деревне "походы" за сит- цами. За два-три дня до привоза товара в лавку

(удивительно, каким образом узнавали женщины об этом!) вся деревня гудела, как растревоженные шмели. Люди не спали сутками, пока не приобретали так нужного материала.

Кроме Марьи Сенихи преуспевали в очередях и еще две-три молодухи. Среди них Надька Петрова, Зойка Басманова и Катя Журавлева. Главной их целью было: стать у дверей лавки первыми. И, как солдат на часах, стоять насмерть. До полной победы. То есть до тех пор, пока не отоварятся. Женщины забыли о сне и отдыхе, малых ребятах и тем паче о работе. Бригадир утром находил на дверной накладке в их избах всунутую в ушко щепку, указующую на то, что хозяйки нет дома, а где она — догадывайся сам.

Бригадир Никита Ильич долго ломал голову над тем, как навести порядок в деревне, дать укорот проворным молодущкам. В самом деле, ситец ситцем, но о работе разве можно было забывать? Труд на земле — святое дело. И, кажется, нашел выход.

Утром, встретив Митьку Дрягина и Кольку Вдовина, мастеров на всякие выдумки, он попросил их придумать что-нибудь такое по поводу своенравных бабенок. Подростки не заставили себя упрашивать. И вот уже вечером на Лизиной горе, где почти каждую летнюю ночь собиралась молодежь, зазвенела под балалайку первая частушка:

*Ситцы пряли, ситцы ткали —
С силою бы сграбиться.
Наши бабы огурели,
Мужикам не справиться.*

Частушка как частушка, и никто еще не понял, куда подует ветер. Дул же он в явно определенную сторону:

*Марья Сениха бежит,
Надьке Петровой кричит: —
Эй, ворона, не сиди!
В магазин скорей иди.*

*Дроля, где ты, дроля, где ты,
Где ты потерялась?
Неужель кажинну ночь
У лавки ошивалась?*

Было еще несколько куплетов, острых, задиристых, исполненных под всеобщий смех молодежи. Деревня зашевелилась. В каждом доме только и разговоров было о шустрых молодухах, которых частушечники (на том сходились многие) обидели зря. Только Никита Ильич, бригадир, помалкивал и улыбался в усы. Он был доволен: ребята уважили его, потому в качестве гонорара бригадир решил угостить их как-нибудь душистым свежим медом.

И никто не предполагал, что после веселой молодежной гулянки на Лизиной горе разразится в деревне гроза. Произошло это буквально следующим утром.

Митька, завтракая, успел заметить в окно, что к ним собственной персоной шпарит не кто-нибудь, а сама Марья Сениха. Поняв в чем дело, чье сало кошка съела, Митька моментально взобрался на большую русскую печь и там затаился.

Марья ворвалась в чужую избу будто в свою. Не взглянув в передний угол и не перекрестив лба, она на высокой ноте поставила перед Миткиной матерью вопрос:

— Где у тебя, Зина, этот паршивый выблядок? Я его, прохвоста, вот этой мутовкой поучить хочу, — в руке Марья держала увесистую хворостину. — Ну-ка, на всю деревню осрамил. Куда я теперь? И как людям в глаза смотреть стану? Ведь песни про меня придумал, окаанный.

— Да ты постой, постой, Марья! Ладно ли говоришь-то? — засуетилась Зина по избе в поисках табуретки. — Чтобы мой Митька кому плохое сделал? Да ни в жисть не поверю!

— А ты поверь. Зачем мне врать-то, Зина?

И Марья, сев не на табуретку у стола, а на лавку в кути, в голос заревела.

— Где Митька-то? Покажи мне его, паршивца, хоть в глаза его бесстыжие погляжу. У-у, поганец, наделал делов...

— Расскажи хоть, что случилось-то? — спросила Зина. — А то ревешь да ругаешься.

— Заругаешься тут... Что я людям сделала? Хочу быть не хуже других — вот и весь мой грех.

И Марья рассказала Зине все, даже частушки повторила.

— Ох, батюшки, да как он мог такое? — заудивлялась Зина. — И он ли еще напридумывал всякой напраслины? Уж поспрашиваю я его, как домой вернется. Я его поспрашиваю! — погрозила она Митьке.

Зина хорошо видела, как Митька перед приходом Марьи стрелнул на печку, но хитрость эту открывать не стала. Чтобы зря не дразнить Марью, и без того обиженную судьбой как никто другой.

Поревев еще немного и высыпав целую охапку проклятий в адрес обидчиков, Марья ушла восвояси. А мать принялась за Митьку. Учинив допрос с пристрастием не хуже урядника, она для профилактики отхлестала его попавшим под руку старым кухонным полотенцем.

Долго бегали еще наши бабы в Потняк в потребилровку, ночами толкались в очереди. Покупали себе обновки, принаряжались. Продолжалась охота за ситцами до самой войны, пока не пришло горькое время, когда и ситцу в лавке не стало да и наряжаться было не для кого — многие молодые мужики и парни ушли на фронт.

О той давней истории с ситцами мало кто сейчас знает. Разве что сойдутся где-то пожилые земляки за самоваром, взгрустнется им и помянут то непростое печальное время, время своей светлой молодости.

Март 1991 г.

Невольный грех

Районный служащий Петр Семеркин, как судачили досужие кумушки, особыми жизненными принципами не отличался. Он, бывало, и сам говаривал: “Прожил день — ну и слава Богу, а что будет завтра, проживем — увидим”. О куске хлеба насущного в основном хлопотала у него мать, женщина крепкая и еще не очень старая. Ради справедливости заметим, что в стороне от постоянной трудовой жизни как таковой Семеркин не стоял. Помогал матери по хозяйству, занимался летом заготовкой сена для своей коровы и бычка, а осенью о дровах хлопотал. Вдобавок ко всему он выполнял обязанности финансового агента по Залесному сельсовету. Эту ответственную должность, как только пришел после войны со службы, доверил дорогому племяннику Пете его дядя по матери Истрат Ефимыч Колодягин, человек угрюмого склада, совершенно не терпящий даже мелочных упущений как на работе, так и в быту, заведовавший в ту пору районным финансовым отделом.

Семеркин в жизни кое-что повидал. Немного понюхал порошу, но поменее того, чем покалеченный Истрат Ефимыч. Ранений и контузий не имел. Правда, в атаку на фрица хаживал, и однажды вдвоем с другом своим сержантом Пекшевым даже взял в плен забредшего случайно в поисках подходящего куста в расположение их стрелковой роты одного вшивого Ганса — ефрейтора. Чем немало гордился, рассказывая мальчикам-однодеревенцам, как он воевал.

Истрат Ефимыч, инструктируя племянника при заступлении на новую должность, строго внушал:

— Ухо держи остро, лести не поддавайся, вдов-солдаток по бабьей части обходи стороной. Это сущие дьяволы в юбке, враз обкрутят и о недоимке забудешь.

Петро наивно спрашивал дядю:

— А как же тогда работать с ними?

— Ты мне казанского сироту не строй! Ишь ты, как он будет работать. Так вот и работай! Построже будь, поофициальнее. Чуть что, грози письму имуществу. Бабы этого бояться. Не моги у них обедать. И не дай Бог, если узнаю о выпивке. Это взятка. А за взятку и под суд недолго загнать. Понял? Ну, то-то же.

На прощанье Истрат Ефимыч хмуро сказал:

— Замечу что непотребное, сразу выгоню!

Петр Семеркин работает финагентом вот уже с полгода. Жалованье ему положили неплохое. Плюс премии за выполнение плана. Семеркин успел уже купить минского производства велосипед и фуражку-восьмиклинку с пуговкой на макушке и коротким козырьком. Фуражка Семеркину очень нравилась. Едва державшаяся на пра-

вой стороне нечесаного каштанового чуба, она не прикрывала и половины лохматой его головы. Только глаза, озорные голубые глаза выдавали его общительный характер. Тут надо заметить, что Семеркин был парень внешностью совсем не плох и деревенские красавицы чуть ли не всего им обслуживаемого сельсовета с завистью посматривали вслед поднятой колесами его велосипеда пыли, думая о том, кому такой вот герой достанется в мужья. Он был высок и плечист, постоянно улыбался каждому встречному, особенно обруганным Истратом Ефимычем вдовушкам-солдаткам, потому как жениться Петро пока не собирался. Да и кто тогда из фронтовиков женился раньше двадцати пяти лет? Разве что по великой нужде, когда совсем не было хозяйки в доме.

Мать его Ефросинья, женщина тоже строгая и к тому же очень набожная, с женитьбой к сыну не приставала. По хозяйству она хорошо еще управлялась сама, а лишний рот ей не был нужен. По натуре, как вся колодягинская порода, скуповатая, она умела сохранить в трудное послевоенное время копейку, имела некий запасец ржицы для пропитания, и семья ее из двух человек жила в то время лучше многих других.

Замуж выдали Ефросинью рано, едва исполнилось восемнадцать, не спрашивая, нравится ей человек или не нравится. Приехали сваты, показали жениха — не кривого и не горбатого. Ну и слава Богу! С мужем жила Ефросинья, как и полагалось, в мире да согласии. Никита Семеркин всей душой полюбил ее, жалел и в обиду не давал. Почти все хлопоты по дому, если никуда не уезжал, брал на себя, даже корову иногда даивал. А работал он тогда на самой почетной деревенской должности, весной и летом правил трактором, приходила пора — пересаживался на комбайн и убирал хлеба. Зарабатывал очень даже неплохо.

Взяли его на войну осенью 1941-го, совсем не молодого, где-то лет под сорок ему было уже. Ушел — и как в воду канул. Пришло всего одно письмецо из каких-то Гороховецких лагерей. А в начале следующего года получила Ефросинья второе письмо, теперь уже с казенным штампом, в котором змеей лежало извещение из воинского подразделения о том, что гвардии сержант танковой части Семеркин Никита Иванович пал смертью героя, защищая столицу Советской Родины город Москву. Поревела баба ночами, смочила слезами не одну подушку, да отступилась. Подрастал сын Петька, молила Бога, чтобы сохранил хотя бы его, уберег от пули.

На фронт Петро сходил где-то в последнем году войны, пострелял там, видно, неплохо, полу

чил медаль "За боевые заслуги", и вот на радость матери живет он дома, имеет чистую должность и почти каждый день ночует дома.

Такое счастье выпадает далеко не каждой матери. Ефросинья радовалась, что парень живет нормальной жизнью, не увлекается вином и, кажется, по-настоящему еще не курит.

Прочитает иной глубокомысленный человек последние слова и подумает: "Ну, нарисовал ты нам, друг ситцевый, чуть ли не ангела во плоти. На-ко ты: "не пьет, не курит". Может, и на девок не смотрит? Так кто это, здоровый парень или облако в штанах? Поясни, если не лень".

Поясню. Не пьет, не курит — это слова матери, и простим старой крестьянке ее светлые мысли. В этот самый момент, когда мы размышляем о его персоне, Петр Семеркин шустро крутит ногами педали минского легкого в ходу велосипеда, направляясь в деревню Начка, где в двух или трех домах обещали ему сегодня заплатить первый взнос по сельхозналогу. А там, если успеет, он продолжит путь до соседней деревушки Быковские, где ждет его еще один человек, с которым он хочет встретиться по собственной инициативе и, конечно, не по постылым райфинотделовским делам, которые, если сказать откровенно, ничуть не греют его солдатскую душу.

Остановив двухколесного коня у первого нужного пятистенного дома, Петро, не слезая с седла, постучал костяшками пальцев в околицу:

— Дома ли хозяева?

Вскоре створка окна открылась и в неширокий проем ее выставилась густая рыжая борода с носом-картошкой.

— Милости просим, Петр Никитыч, заходи в избу! — пригласил хозяин. — Покалякаем да и дела уладим.

Пока Семеркин ставил к изгороди велосипед, отвязывал с багажника кирзовую сумку с квитанционными книжками, мыл в кадке с дождевой водой потные руки, на хозяйском столе возник и его уже поджидал исходящий паром большой тульский самовар с медалями на золотом пузе. Стол был заставлен тарелками со свежими огурчиками, пузатенькими, со слезой, розовыми помидорчиками, щедро нарезанными ломтями свежего ржаного хлеба и мелкими брусочками прошлогоднего свиного сала. В центре этого редчайшего в те годы благополучия высилась литровая бутылка самогона.

— Чем богаты, тем и рады, — хлопотал хозяин. — Откушайте с нами, Петр Никитыч.

— Да ты что, дядя Ваня? Зачем это все? Я не барин, чтобы так-то вот потчевать, — отнекивался Семеркин. — Убирай сейчас же все со стола! До обеда еще далеко и есть я совсем не хочу... Вот разве огурчика — пить что-то охота.

— Да какой разговор! Подкрепись немного и за дела. Вот чаю налью сейчас...

За хозяином дома Иваном Федорычем Птахиным недоимки не значились. Работал он в деревне кладовщиком и о собственных сусеках не забывал. Жил как надо. Семеркин достал из сержантской полевой сумки квитанционную книжку, проложил меж двух ее листочков голубую копировку и спросил хозяина:

— На какую сумму будем выписывать? Первый срок выходит через неделю. Может, сразу на все, дядя Ваня?

— Уж больно ты, Петя, ловок, как я погляжу. Денег я рисовать не умею, а зарплату нам в колхозе каждый месяц не выдают. Не то, что в нашем райфе.

Иван Федорович был давним приятелем Истрата Ефимыча Колодягина, самого заведующего райфинотделом, и потому нередко допускал некоторую фамильярность по отношению к Семеркину. Петр на это не обижался.

— Пиши пока на половину, на пятьсот рублей, — назвал цифру Иван Федорович. — Эти едва наскреб. И каких только податей не напридумал Истрат Ефимыч, твой высочайший начальник. Сельхозналог, самообложение, заем, да всяких натуральных целая куча. А где взять? Кто только мужика, как того барана, не стрижет?! Вот выложу тебе пятьсот целковых. А где, ты думаешь, я их взял? Хозяйка моя целую флягу топленого масла увезла в заготконтору, да меду полфляги. А ведь все это на дороге не валяется. Копит она, копит это самое масло, а килограммчикто на базаре всего пять рубликов! А расходов по дому разве мало? Возьми самое дешевое, распроклятые лапти, — и за те отдай два с полтиной. Так-то вот, Петя! А ты говоришь... Давай распишусь, что ли.

Иван Федорович спохватился, что за разговором забыл о важном госте и быстрехонько наполнил один из граненых стаканов синеватым первачом, а себе плеснул помене половины.

— Выпей, Петр Никитыч, не ломайся! Однава живем. Деньги я тебе заплатил, стало быть, корысти моей тут нет. От души угощаю. Ну, с Богом!

Иван Федорович, лукавя на словах, знал, что делал. Зря он не истратил бы и пятак не только на Петра Семеркина, но и на отца родного. Он глядел далеко вперед, а впереди у него были кое-какие планы и Петр Семеркин мог сыграть в них не последнюю, по меркам Птахины, роль. А главным в том плане было как можно поскорее получить льготу по сельхозналогу.

Семеркин взял в руки наполненный стакан, поднял его и повернул руку на свет, покрутил в руке, потом быстрехонько поднес ко рту и моментально вылил туда содержимое. Крепость первача была невероятной, у Семеркина захватило дух, округлились глаза, и он еле справился с собой.

— На-ко вот холодным молоком запей, помогает тут лучше всякого лекарства, — предложил Иван Федорович. — Только что из погребца.

Семеркин схватил в руки запотевшую в тепле кринку и чуть ли не всю ее опорожнил.

— Ну, дядя Ваня, не думал я, что такая сердитая у тебя самодуриха, — отдышавшись, сказал Семеркин. — Чуть на тот свет не угодил... Хороша-а-а!

— Закусывай давай, Петя, не стесняйся, — хлопотал Иван Федорович, подкладывая незваному гостю то помидорчик, то сала, то свежий, только что с грядки, огурец.

— Все свое, не купленное. Спасибо власти, налоги дерет, но и жить, кто умеет, дает. У меня вот как инвалида войны корова во дворе с телятником, да бычок, свинья с поросенком, пчелы там, куры, огород полгектара. Ну и прочее другое. Знай не ленись только. Правда, завидуют мне в деревне. Вот, мол, Птахин живет, раскулачивать пора. А того не разумеют, что все горбом своим, все горбом...

Петр Семеркин ел мало и, как заметил хозяин, явно осоловел от выпитого. Стакан первача сделал свое дело, и Иван Федорович увел Петю в прохладную клеть отдохнуть от трудов праведных. Через несколько часов выпавшийся и посвежевший Семеркин, наотрез отказавшийся от предложенной Иваном Федоровичем опохмелки, объехал намеченные на сегодня дома, получил деньги, выписал квитанции и двинулся напрямик от деревни через большой овраг к Быковским.

Поездка его была обусловлена еще несколькими днями назад, когда в райцентре совсем случайно встретил он свою давнюю зазнобу Феню Строеву, с которой познакомился на одной из деревенских вечеринок еще до войны. Как-то так тогда получилось, что вскоре он ее потерял из виду. А однажды услышал, что Феня вышла замуж к Быковским за совсем невидного парня Сеньку Фролова, долговязого забуддыгу и выпивоху. Прожили Сенька с Феней совсем немного, он ушел на войну и погиб, как многие молодые мужчины в ту фронтовую пору.

Феня была не такая, как все девки, и приметил ее Петр Семеркин совсем не зря. Была она крепкого телосложения и отличалась от других товарок большой физической силой. Не потому ли и стала она почти в самом начале войны трактористкой, пройдя перед этим в машинно-тракторной станции краткосрочные курсы? Волосы она стригла коротко, и эта давняя привычка в придачу с чистой, чуть лукавой улыбкой, очень молодила ее, и никто бы из незнакомых людей не сказал, что перед ними не девушка, а вдова с неким стажем. Феня соблюдала себя со всей деревенской строгостью, и никто из возможных ухажеров даже не пытался к ней приблизиться. Зная, что получит от ворот поворот.

Правду сказать, замуж Феня выскочила, совсем не собираясь это делать. Не по любви, а по настоянию родителей, в семье которых подпирали старшую дочь еще несколько девок. Петя Семеркин еще в ту далекую довоенную пору ей откровенно нравился, и встреча их в райцентре скорее всего произошла на сей раз не просто так. Феня какое-то время вертелась возле двухэтажного дома райфинотдела, который стоял неподалеку от конторы машинно-тракторной станции, куда она приехала по нужному делу в мастерскую, поджидая, когда выйдет разлюбезный ее душе Семеркин.

И наконец дождалась.

— На минутку вас можно, Петр Никитыч? — окликнула Феня вышедшего парня.

— Феня? Это ты? — несказанно удивился Семеркин. — Вот это встреча! Не зря, видно, говорят, что есть Бог на свете. Сколько раз я спрашивал себя: где ты сейчас? То ли дома, то ли уехала куда?

— А куда мне уехать-то? Люблю я деревню. Все там же живу и работаю.

— Все у Быковских? А Семен как? Вернулся ли с войны?

— Семен погиб. Бумага об этом из военкомата пришла. Сперва не верила я бумаге-то. А теперь вот столько лет прошло. Осталась не девка, не баба — солдатская вдова. Хуже нет названия такого...

— Извини, Феня, мне сейчас некогда. Начальство срочное задание дало. А поговорить охота. Может, в гости пригласишь?

— В гости? А не побрезгуешь теперь? — потупилась Феня. — Хожу я ненарядная, больше мазаная, паршивым керосином от меня пахнет, не духами...

— Ну, это дело поправимое, — рассмеялся Семеркин. — Так что скажешь-то?

— Заходи, если не шутишь, — зарделась Феня. — Я теперь все время дома буду. Работаю в своей деревне.

От деревни Быковские сейчас осталось разве что одно название. Тогда, в послевоенные годы, стояло тут десятка полтора добротных домов с крытыми дворами, во многих, у кого хватало силы, стояла скотина. Располагалась деревня на привольном месте, рядом лес, овражки и лужи для покоса и пастбы, небольшая речка.

В одном из домов жила Феня Строева. Семеркин подвернул велосипед к тесовым строганым воротам, поставил его и заглянул во двор. Дверь в сени была закрыта, в металлической петельке для замка торчала лучинка, указывая, что хозяйки нет дома.

— Где же она может быть? — спросил сам себя Семеркин. И улыбнулся: "Приходи на пироги, когда меня дома нет!" Дела...

Из-за бугра, от недалекого леса слышался шум заработавшего тракторного двигателя, и Семеркин догадался, что Феня, забыв про гостя, решила, видно, не терять времени даром. День близился уже к вечеру, и она должна была вот-вот вернуться домой.

— А что я тут рассиживаться стану? — сказал Семеркин. И взяв велосипед, он двинулся в сторону затарахтевшего трактора. Двигатель вскоре снова заглох, и Семеркин застал Феню всю в слезах.

— С самого утра вошкаюсь с ним, окаянным, и все без толку. Только заведу, заведу, сяду на чертову холодную тарелку, — она показала измазанной в машинном масле рукой на металлическое сиденье, — а он, дьявол, возьмет да заглохнет. Не могу я больше, Петя, на этом грязном идоле работать. Брошу все! Ты посмотри на меня, я и на бабу-то не стала походить. Тоже вся, как этот железный бес, чумакая. Кто меня такую полюбит? А мне ведь всего двадцать четвертый год!

И Феня снова облилась слезами. Семеркин подошел к женщине, взял ее измазанные руки в большие и сильные свои, прижал к взволнованной груди и внимательно посмотрел в ее карие уруванные глаза:

— А можно я полюблю, Феня? — ласково и моляще спросил он, будто любимую жену, которую очень давно не видел и смертельно по ней соскучился.

— Ох, парень! Знаю я вашего брата. Приставали ко мне когда-то, да всех отшила. Не любы были. А ты мне люб и скажу по совести: ребеночка я хочу. Сыночка или дочку. Что я, не человек, что ли? Живу, будто обсевок в поле — ни то, ни се, ни Богу свечка, ни черту кочерга. Стою вот с тобой и боюсь. Кого боюсь? Да самое себя. Живая ведь я! С мужем прожила я всего ничего, не поняла, что такое любовь. Да и не было ее, этой самой любви-то. Молоденькая была тогда, дура была... Вот все и сказала тебе. Может, и ты осудишь, как старухи наши деревенские. "Терпи, — говорят, — и ни о чем таком не думай. Грех!" А посмотришь, так вся-то наша молодая жизнь из греха и состоит. Что радует человека, то и грех. Думаешь, эти самые старухи не грешили? Еще как! Послушаешь их, так одна в молодости попивала, другая воровала, а третья из-за живого мужа по ночам к чужому через забор лазила. Вот так-то! А мне чужого не надо, я своего хочу!.. Так простишь ли мой грех, Петя?

— Да ты что, Феня? Какой грех? Да я... Если ты полюбишь — век не забуду. Ведь ты мне когда-то очень нравилась. Да и сейчас ты лучше всех.

Петр Семеркин обнял Феню за плечи, стал искать своими жаркими губами ее горячие мягкие губы...

Густая вечерняя тень легла на стоящий непод-

леку от трактора стожок недавно сметанного душистого лесного сена. От него пахло ландышами, кашкой белого дичка-клевера и ромашками. Не эти ли запахи носит летом любовь? Лесные запахи и ночная тень пусть укроют от посторонних любопытных глаз радость первой человеческой любви, разделенной на двоих, только на двоих, неизведанного большого счастья.

Они потом, кажется, задремали. Первой очнулась от забытья Феня.

— Петя, проснись. Нам ведь пора домой, — потревожила любимого Феня. — Скоро, поди, рассвет.

Петр Семеркин провел рукой по холодному лицу, ладонь стала мокрой от густой росы.

Домой к Фене они пришли уже на рассвете.

— Я в клетки тебе постелю, ложись, поспи, — предложила Феня. — А мне надо скотину в поле готовить, корову доить.

Она подошла к Петру, вскинула руки ему на плечи, крепко обняла парня и горячо поцеловала.

— Скажи бы кто вчера, что Петя Семеркин мой будет, ни за что бы не поверила. Ну так что, пойдешь в клеть-то?

— Прости, Феня. Жаль, но мне тоже надо ехать, деньги сдавать, — сказал Семеркин. — У нас с этим строго. Но если позволишь, я к тебе еще приеду.

— Когда ждать-то?

— Да хотя бы завтра.

Феня с сожалением вздохнула, оторвала себя от груди любимого и вышла во двор проводить его.

В деревне на всю улицу горланили петухи.

Семеркин смог выбраться к Фене лишь через неделю. Кончался месяц и Истрат Ефимыч Колотягин крепко нажимал на план. Он не любил, чтобы район ходил в должниках перед государством и на несколько дней разогнал агентов по деревням собирать недоимки.

Феня переполошилась:

— Извелась я вся, — сказала она приехавшему поздно вечером Петру. — Думала, поиграл с бабой да бросил. Не знала, что и подумать.

— Эх, девка, девка! — ответил ей Семеркин. — Не все же парни обманщики. Да разве могу я бросить тебя после всего, что было у нас?

Петр ласково привлек Феню к себе, нашел ее припухшие пунцовые губы и нежно, надолго затаив дыхание, приник своими грубыми на ветру губами к ее зовущим горячим устам. В грудь хлынуло жаркое тепло, сердце куда-то заторопилось, и вдруг вспыхнуло непреодолимое желание. Такого чувства он никогда еще не испытывал и не знал, что делать. И, преодолев стеснение, охрипшим голосом тихо предложил:

— Может, в клеть сходим?

Феня улыбнулась, погрозила Петру пальцем и впереди его неторопливо двинулась в сторону заветного, без окон, места.

После, за ужином, они долго беседовали о своей будущей жизни.

— Пока мы были в разлуке, я кое-что придумал, — сказал Семеркин. — И знаешь что?

Феня отрицательно покачала головой.

— Ни за что не догадаешься, — продолжил Семеркин. — Решил я свою разлюбленную работу бросить и пойти на курсы трактористов.

Феня удивленно вскинула брови.

— Не веришь? — спросил Семеркин. — Знаешь ли, стыдно мне, здоровому парню, ездить на велосипеде с сумкой по деревням и отбирать последние гроши у полунищих женщин. Зайдешь к иной в избу, а у нее ребятишек куча и хлеба в доме ни крошки. А я страшаю ее всякой всячиной, грожусь отобрать последний самоваришко... Опостылело! Кончу вот курсы и заберу тебя к себе. Пойдешь за меня в жены-то?

— Ох, Петя! А жить-то как будем? Я на своем ХТЗ много ли зарабатываю? Так себе. И потом, знаешь ли, как эти три буквы, отлитые в чугуна на лбу ХТЗ, обозначающие "Харьковский тракторный завод", мужики расшифровывают?

— Слыхал, поди в деревне живу — хрен тракторист заработает. Так что ли? Думаю, и на нем, полудохлом, можно заработать поболее колхозника. И потом, на смену старым тракторам с шипами на больших задних колесах идут в МТС уже гусеничные тракторы, НАТИ называются. А в Сталинграде уже с дизельными моторами готовятся машины выпускать. А там, глядишь, инженеры еще что-нибудь придумают. В общем, если ты, Феня, согласная, еду я завтра к дорогому дядюшке Истрату Ефимовичу и кладу перед ясные его очи заявление об уходе с работы.

Слезы радости смочили Фенино лицо. Всклипнув, она взволнованно спросила:

— А мать-то твоя что скажет, Петя? Ну как воспротивится? Пропаду я тогда без тебя. Как подумаю об этом, сердце стынет.

— А что мать? Поди согласится, — заверил Феню Петр Семеркин. — Старееет она, часто стала похварывать. По дому ей смена нужна. Подружки ее давно внуков нянчат. Пришел и ей черед этим заняться.

В ту ночь, не таясь, Петр Семеркин заночевал у Фени Строевой, будущей законной жены.

* * *

Рассказ наш, как и задумано, заканчивается для его главных героев благополучно. Мать Петра Семеркина, Ефросинья Ефимовна, встретила намерение сына жениться на вдове в штаны, но потом, здраво поразмыслив, что парню и вправду пора обзаводиться семьей, махнула рукой и плюнула на его выбор.

— Раз не нашлось тебе девки в наших местах, бери себе хоть Маньку-дурочку, — сказала она. — Живите только как следует.

Истрат Ефимыч выматерил племянника, назвал его настоящим дураком, как будто дураки бывают не настоящие, но заявление об уходе с работы из райфо подписал, при этом заметив:

— Надо было выгнать тебя, голубчика, сразу после пьянки у Ивана Птахина, да оплошал вот. Старею, похоже.

Народ в округе удивился произошедшему, но потом нашел, что пара из Фени и Петра получилась совсем неплохая. Все желали им счастья и любви.

И стали они жить, поживать, добра наживать да деток поджидать.

Февраль, 1996 г.

Развод для Саньки

Тетке Анисье принес почтальон письмо. Пришло оно из большого города от младшей дочери Саньки. "О чем бы это пишет она? — подумала Анисья. — Кажется, недели не прошло, как веселую получили".

Первым делом Санька кланялась всем родным и знакомым, потом рассказывала о своем житье-бытье, о подружках, с которыми вместе после профтехучилища работала на заводе химволокна и которые одна за другой стали выскакивать замуж. А потом дочь перешла к делу, ради которого и явилось ее письмо на свет божий.

Анисья, медленно читая накарбанные торопливой Санькиной рукой неразборчивые слова,

поначалу не могла взять в толк, чего хочет девка. Она знала, что дочь их записана на кооперативную квартиру и вот-вот должна получить ее в многоэтажном доме, на которую года два назад были выданы ей три тысячи. Саньке очень хотелось укорениться в городе, и первый шаг на этом пути она видела именно таким. Анисья, вручая тогда дочери отложенные вместе с мужем, Иваном Ильичем, на всякий пожарный случай, деньги, даже возгордилась Санькой: "Эта не пропадет, эта по мне", как будто сама начинала жизнь с такого же шага.

"Мама, — писала Санька. — От кооперативной я надумала отказаться, потому что нашим

девкам, Дуне и Октябрине, пообещали жилье в заводском доме. Правда, обе они замуж выйдут, им дадут двухкомнатные из-за того, что в паспортах матери записаны. Мне такая не светит, я одна, а получить страсть как хочется. Вот я и подумала: пропишу-ка тебя к себе в общежитие, а потом и в новую квартиру до своей семьи, в двухкомнатную. Только тетя Поля, наша комедантша, говорит: прописать лучше одинокую мать, не семейную. А то, мол, ничего не выйдет. Дак ведь папка, поди, пока и один проживет, ничего ему не сделается...”

Наконец-то Анисья уразумела, в чем гвоздь Санькиного дела. “На месяц-другой можно, конечно, и съездить, — подумала она. — Вот согласится ли отец? Ему, колхозному трактористу, без хозяйки в доме, как без рук. Но ради дочери он пойдет на все”.

А строчки в письме Санькину мысль продолжали. “Вот и говорю я, мама: приезжай осенью. А к весне, глядишь, хорошее жилье и получим”.

Анисья села на стул. “Это че она выдумала, поганая девка? На всю зиму к черту на кулички, оставить дом и хозяйство на отца? Да он разве отпустит? И отпустил бы, может, да одному ему с коровой и поросенком не управиться. Погубит”.

А Санька будто читала материны мысли. “Корову можно продать, а поросенка папка к зиме зарежет. Корову потом снова купить недолго. Квартира может пропасть. А чтобы к тебе у нас никто не придрался и чтобы паспорт был чист, с папкой надо оформить развод, будто вы врозь стали жить, — советовала Санька. — Я слышала, что так некоторые делают и получают хорошие квартиры в новых городских домах. Вот и подумала: что вам стоит это сделать? Ведь не насовсем, а ненадолго, ради моего устройства”.

У Анисьи что-то ворохнулось в груди, закружилась голова. Она хотела встать и пройти к кровати, чтобы прилечь, пока пройдет слабость, но налились ноги чугунной тяжестью и ее не слушались.

— Ну, Санька, ох, Санька! Как же ты додумалась до такого? Кто тебя научил? — прошептала Анисья. — Скажи кому, что родная дочь разводиться заставляет, не поверят. Скажут: спятила, не иначе.

Пересилив слабость, Анисья все же добрела до постели и прилегла. В голову лезли всякие думки вокруг Санькиного необычайного предложения; о своей жизни. Здесь вот, в деревне Подлесной, она родилась и выросла, отсюда бегала в школу в недалеющее село. Здесь с Иваном встретилась и полюбила. И вот живут они душа в душу без малого сорок лет. Она, доярка, вышла уже на пенсию, а Иван дорабатывает до шестидесяти последние годы. Живут при достатке. Помогают

и другим детям — старшей дочери и сыну, которые сразу после окончания средней школы подались в город, одна на учебу, а другой сперва в армию ушел, потом отправился на Крайний Север.

Вспомнилась Анисье своя молодость, которая намечена была судьбой на скучные послевоенные годы. Жили они без отца, мать, чтобы прокормить и как-то одеть двоих ребятишек, не гнушалась всякой работы, кормила в колхозе коров, телят, за свиньями ухаживала. Крепко заставляла мать учиться на агрономшу, да ей что-то не хотелось. Учеба — дело длинное и скучное, а жизнь у человека одна. Так она думала тогда и считала себя правой. Потом, когда подросли у Анисьи свои дети, мнение это изменилось, и она заставила их всех пройти десятилетку, а Санька в придачу вон какое-то важное училище закончила.

Что-то скажет отец, как рассудит? Ей и хотелось помочь дочери и боязно было. А ну как что случится? Развод — дело не шуточное, пусть даже не настоящий. “То есть как это — не настоящий? — спрашивала себя Анисья. — Ведь придется в суд идти, страмиться на старости лет. О, господи! Дал ты мне заботушку. И все эта Санька. Чего только не выдумает, непутевая!”

Анисье вспомнилось, как они с Иваном свили свое гнездо. Иван не женился долго, некогда было. Чуть не восемь лет служил в армии, потому как взяли его на войну досрочно, семнадцатилетним, вот и дождался в части, когда подрастет после войны для службы новая смена. Пока то да се — за двадцать пять перевалило. И жениться бы пора, да не хватало малого — ни одежки путевой, ни угла для молодой семьи. И все-таки женился. Купил тогда ему отец срубы в соседней деревне, выбрал место для подворья, поставил их на мох и сказал:

— Чем мог — помог тебе, Ваня, а в остальном сам давай разворачивайся.

И они с Анисьей все лето обустранивались. Строгали и настилали пол с потолком, ведрами таскали на подложку землю, чтобы не уходило зимой тепло, затирали и белили печь. Все сами, до всего доходил Иван самоуком. Вставали утром с петухами, ложились поздно, работали до тех пор, пока гнулась спина и держались в руках топор или лопата. Зато сколько было радости, когда из родимой печки повалил веселый дымок, когда прилепили к избенке белые тесовые сенцы, а под окном посадил Иван две яблоньки — для детей и внуков. Сколько было у них задора, уверенности в своих силах. Не зря говорят, что сделанная своими руками изба много теплее и уютнее, чем чужая. В ней ладится жизнь, поселяется счастье.

Нет, Анисья не жаловалась на свою судьбу. Так

прожить, как они с Иваном, дай Бог каждому. Потом, лет через десять после войны, когда родной их колхоз окреп и вошел в силу, они перестроились. На месте первой отцовской избенки вырос ладный такой домишко в четыре окна на улицу, с пристроенной к нему со стороны сада верандой, с колодцем под крышей, с банькой, с хлебом и другими надворными постройками, без которых деревенскому жителю никак нельзя. И хотя крепко тогда помог опять же колхоз, сами они в стороне не стояли. Да и кто тебе все блага должен поднести на блюдечке, если ты сам здоров и при силе? Наверное, не было тогда в деревне счастливее семьи Ивана Ильича Журавкина. Много забот и хлопот доставляли им дети, но голодными никто не сидел, босоногим тоже никто не бегал. Всех их поставили на ноги...

И вот тебе новая забота. Ах, Санька, Санька, чертова девка!

За невеселыми этими размышлениями незаметно задремалось, и Анисья не услышала, как пришел Иван Ильич. Он ввалился в избу полный запахов весны, солярки и полыни, родного колхозного поля. Свои тяжелые кирзовые сапоги и неопределенного цвета пропыленный ватник оставил во дворе. Взяв с полки гребешок, стал расчесывать еще густые и мокрые после умывания волосы.

— Все прохлаждаешься, мягкие места греешь? — спросил он жену.

— Ох, не говори, отец... Все ждала, ждала тебя и уснула, — стала оправдываться Анисья. — Корову еще не пригнали, тебя не было. Так что больно-то не сердись.

— Осердишься на тебя, — ворчал хозяин, надевая теплую домашнюю куртку и оглядывая себя в зеркало. Иван Ильич был росту невысокого, зато широк в плечах. В молодости он как мячиком играл пятипудовыми мешками, получая на трудодни заработанное зерно. Круглое русское лицо с небольшим приподнятым вверх носом, и рыжеватые волосы, маленькие и цепкие глаза придавали его облику нечто добродушное, домашнее, и Анисья в тихую счастливую минуту говорила мужу:

— Так и хочется погладить тебя, Ваня.

— Ну и погладь, не жалко. Только не уколись обо что-нибудь.

Взглянув друг на друга, оба смеялись, тая в душе что-то свое, только им принадлежащее.

Анисья тем временем собирала на стол. Ей не терпелось выложить новость, но зная вспыльчивый нрав мужа, решила повременить с Санькиной затеей. Она хорошо знала, что Иван Ильич младшую дочь очень любит, потекает ей во всем с малых лет. Наверное, потому, что в детстве та часто хворала, мучила мать, не давала по ночам покоя и ему, пахарю и кормилицу семьи. Когда

Санька пошла в пятый класс, он купил ей маленькие золотые наручные часы с золотым же браслетом, а в седьмом классе она шеголяла уже в красных сапожках, по каким страдали местные модницы, девки на выданье. Будь Санька парнем, он не задумываясь купил бы ей всеобщую мужскую зависть — мотоцикл "Урал".

Сколько ни медли, но начинать надо было. И Анисья вздохнула:

— От Саньки письмо пришло. Пишет вот... — и снова замолчала.

— Что пишет-то, рассказывай.

— На-ко вот, почитай лучше сам, — предложила Анисья. — Я что-то не больно поняла, — слукавила она.

Иван Ильич с удивлением поглядел на жену и, не закончив ужина, потянулся к Санькиному посланию. Он понял: произошло что-то необычное, о чем говорить жена не решается. "Уж не замуж ли собралась стрекоза?" — подумал он о дочери. Но мысль эту отверг, потому как Анисья сказать об этом не постеснялась бы.

Он долго шевелил губами, разбираясь в дебрях торопливых каракуль. Хмурил брови, веря и не веря тому, что наконец-то уразумел.

— Дела... — только и мог выдохнуть по прочтении. — А ты чего молчишь? — спросил он жену. — Уж больно смирна сегодня. К чему бы это?

Помолчали оба.

— Стало быть, разводимся? Ну что ж. Мне это, пожалуй, даже выгодно. Помоложе жену найду. Вон хотя бы Маню-бригадиршу. Поди, не откажет разделить судьбу с не совсем еще пожилым человеком, — ерничал Журавкин.

— Что ты плетешь, старый дурак, — пошла в наступление Анисья. — Дочь вон о чем пишет, а ты мелешь ерунду, как пустой жернов. Делать-то что станем? У меня, как узнала, сердце зашлось. Шутка ли...

— Вот то-то и оно, — согласился Иван Ильич. — А вдруг что со мной случится, ведь трактор — не лошадь. И останешься ты ни с чем. Хозяйство, сберкнижка на меня записаны. Корову, избу и все остальное детки разберут и уедут: поминай как звали. Тогда как?

— Не пойдут на это наши дети, — убеждала мужа Анисья. — Ведь не враги же мы им, родители.

— Вроде бы так, — соглашался Иван Ильич. — Но на развод идти — это тебе не старые калоши выбросить. От людей, узнают, стыда не оберешься.

— Правду говоришь, Ваня, сущую правду. Только Саньке-то как помочь? Ведь ожидает девка.

— Как помочь? Помочь можно, есть одно старое средство. Раньше оно очень даже помогало.

Какое? А вожжи. Взять их и — по мягкому месту, чтобы с недельку на него сесть не могла.

Долго обсуждали Журавкины свалившуюся им на голову заботу, долго светился в их доме огонь, но в первый вечер ни к чему они так и не пришли. Лишь через неделю, после долгих разговоров и споров, они решились на позорный, но безвыходный в их понимании шаг.

Посевная в колхозе заканчивалась. Иван Ильич, получил выходной, вывел из пристройки свою маленькую, под брезентовым верхом "Волынь", и они покатили в райцентр, навстречу своей судьбе, какую им предначертала эта шустрая Санька.

Приехав в город и поставив автомашину во дворе у своего старого приятеля, Иван Ильич долго чесал в затылке. Куда идти? Анисья тащила его в суд, узнав у кого-то, что бракоразводные дела решаются здесь. Он же решил сходить сначала в ЗАГС, помня о том, что в этой конторе вершат многие житейские дела, от рождения человека и до самой смерти. И не судят тут (суда он боялся пуще огня), а решают все по согласию, мирным порядком.

В ЗАГСе встретила их будничная пустота небольших комнат, поразивших Ивана Ильича невыразимо темными стенами, выкрашенными густой коричневой краской, и громоздкой мебелью, привезенной, похоже, из какого-то солидного городского учреждения за ненадобностью. В одной из комнат, самой маленькой, в открытую дверь была видна сидевшая за большим канцелярским столом, заваленным какими-то толстыми книгами в жестких переплетках, пожилая строгая женщина с неприкуренной сигаретой в руке. Она неторопливо перелистывала одну из книг, делая синим карандашом выписки в толстый блокнот. Журавкиных она не видела. Иван Ильич, чтобы заявить о себе, негромко покашлял. Наконец книга захлопнулась и басовитый густой голос женщины предложил:

— Заходите, коли пришли. И садитесь. У нас без церемоний. Выкладывайте, что привело.

Иван Ильич долго мял картуз, неуверенно поглядывая на Анисью, как бы требуя взглядом: мол, помогай, жена, пропадаю. Все слова куда-то делись, язык будто распух и не ворочался.

— Слушаю вас, — подталкивала заведующая. — Что же молчите?

— Да мы вот... — Иван Ильич толкнул в бок локтем Анисью. — Пришли вот узнать... Как это... В общем, расходиться думаем. Нажились.

— Вот как? — удивилась заведующая. — Не похоже, что вы к такой грани подошли. Но в жизни всякое случается. Так каковы же причины? Извольте изложить, — стала она снова подторпливать замолчавшего Ивана Ильича.

— Какие там причины, — начал было Журав-

кин, но вовремя спохватился: того гляди, ляпнешь что-нибудь невпопад. Наконец набрался храбрости и единым духом выпалил: — Характерами не сошлись! Вот...

— Редко, очень редко в вашем возрасте за разводом приходят. Даже в наше скоропалительное время. Дети-то у вас есть? И внуки есть? Это хорошо. Плохо другое — падение нравов.

И заведующая принялась читать им популярную лекцию о браке и семье, обязанностях супругов, о взаимной верности и других подходящих моменту проблемах и истинах, при этом обращаясь почему-то к одному Ивану Ильичу, которому становилось от ее нелюбезных слов то жарко, то холодно, и он то и дело вытирал картузом лицо, забыв, что в карман пиджака положила ему Анисья чистый носовой платок.

Выкурив после лекции сигаретку и таким образом предоставив Журавкиным несколько минут на размышление, заведующая положила перед ними листок бумаги и велела писать заявление.

— Какое еще заявление? — удивился Иван Ильич. — Канцелярию тут развели — не продохнешь.

— Верно, развели. На то оно и районное бюро записей актов гражданского состояния, — торжественно произнесла заведующая. — Нельзя иначе. И подробнейшим образом изложите в заявлении причины нежелания совместной жизни. Повторяю: подробнейшим образом. А через три месяца прошу ко мне снова, если за это время не одумаетесь, тогда и решать будем, что с вами делать.

— Что же вы медлите? Пишите, — настаивала заведующая. — Семья — это вам не фунт изюму.

Иван Ильич долго вертел в руках карандаш, стучал тупым его концом по столу, а бумага все оставалась в своем первозданном виде. Слов подходящих не находилось, в голове стоял глухой звон, глаза застилало туманом. Рука дрожала, буквы в слова никак не складывались.

— Не могу я, Анисья. Не пишется. Может, ты сама? У тебя рука легкая, — повернулся к ней Журавкин. И не узнал жену. Лицо ее побледнело, а глаза, несколько минут назад голубые и привлекательные, за которые, наверное, и полюбил ее когда-то Иван Ильич, вдруг потемнели и налились влагой. Она тяжело дышала, то и дело облизывая сухие жаркие губы.

— Плохо мне, Ваня. Пойдем отсюда поскорее.

Иван Ильич тяжело поднялся с казенного стула, помог встать жене и повел ее к выходу. У порога он остановился, попросил у заведующей прощения за принесенное беспокойство, надел картуз и сказал:

— Пошли, Анисья. На сегодня, видать, хватит. Наделали хлопот хорошему человеку. У нее и без нас вон делов...

А месяца через четыре, когда в саду под окнами стали поспевать яблоки, Анисья двинулась в путь. Иван Ильич проводил ее на станцию, нашел указанную в билете полку в плацкартном вагоне, поставил в ящик корзину с яблоками и другими домашними гостинцами, присел рядом с женой.

— Хотя мы по бумаге и чужие теперь, но совет мой все-таки прими. В рот Саньке не гляди, ума своего держись. Одно скажу: не нравится мне вся эта затея, как бы боком не вышла она нам на старости лет, — сокрушался Журавкин.

Анисья расплакалась, ей и самой до смерти уезжать не хотелось, но Саньку было жалко пуще того. Младшенькую хотелось поставить в жизни не хуже других, хотя к устройству старшей дочери и сына особых стараний она не прилагала. Дочь вышла замуж за своего сокурсника еще в студенчестве, дополнительных хлопот не потребовалось. А сын после армии долго не женился, лет пять рубал в шахте уголек, зарабатывал очень даже неплохо и мог, если б была нужда, помочь родителям. Другое дело Санька. Санька — особая статья. И материнское сердце не могло вынести ее печали по поводу вселения в новую двухкомнатную квартиру со всеми мыслимыми и немыслимыми удобствами. Тут надо сказать и о том, что Анисья втайне мечтала насовсем осесть в городе, при Саньке, нянчить внуков — последнюю в ее годы радость. Она и мужу намекала на это, но тот не хотел даже слушать бабьих выдумок.

— Родились в Подлесной деревушке, тут и умирать станем. На своем кладбище покойнее лежать. Отцы и деды тут наши похоронены. Не забывая об этом, — говорил он рассудительно.

Не спорила Анисья: к чему это? А в уме думку держала: сперва самой осесть у дочери, потом Ивана переташить. “Переедет, как миленький. Куда денется? — думала она. — Не зря сказывают: куда иголка, туда и нитка”. Правда, забывая при этом, что пословица подразумевала под иголкой мужа, главу семьи, а ниткой полагалось быть женщине.

— А может, надумаешь, Ваня? Попозднее тоже приедешь? — приникла, прощаясь, Анисья к груди мужа. — Как я одна-то? Хотя разорвись... Ты только не сердись, все равно скоро встретимся. А не встретимся...

— Погоди умирать-то, погоди. Делов у тебя неперделанных больно много. Мы, мужики, народ крепкий. Выдержим. Только еще раз скажу: за Саньку не цепляйся, она тебе не ребенок. Гляди, дак тебя еще поучит кое-чему.

Иван Ильич заторопился к выходу из вагона, постоял еще под окном на перроне, помахал рукой вслед уходящему поезду и двинулся прочь. В долгое расставание он почему-то не верил и, садясь у нефтебазы в кузов попутного грузовика,

сказал, обращаясь будто к рядом сидящей жене:

— Ничего, скоро дома будешь. Прискачешь, милая.

И верно. Через каких-то полгода Анисье пришлось покинуть уютное городское гнездо. Санькины дела с ее приездом скорехонько уладились, квартиру она получила. Двухкомнатную, в хорошем многоэтажном доме. И с семьей у Саньки тоже все разрешилось.

А дело произошло так. Не успели женщины отмыть и оттереть от извести да засохшей краски углы в новом жилище, как явился к ним в гости некий Санькин знакомец.

Звонок у двери оторвал их от дела поздним вечером. Санька, взглянув на мать и увидев, что та, как ни в чем не бывало, протирает влажной тряпкой старые стулья, быстрехонько подлетела к зеркалу, поправила свои рыжие пышные (недавно из дамского салона) волосы, привела в порядок ситцевый в синий горошек домашний сарафанчик и пошла открывать. Деревенской заваски деваха, Санька была по-отцовски невелика ростом, но крепко сколочена, лицо ее красила милая, доверчивая, почти детская, в ее двадцать с небольшим лет, улыбка. Нельзя сказать, что ходила она в красавицах, но дурнушкой назвать ее тоже было грешно.

Ввела Санька, вся сияя от долгожданной встречи, высокого смуглого парня при модных, в ниточку, черных усиках и такого же цвета аккуратной небольшой бородке. От него сильно пахло духами.

— Геральд, — церемонно представился парень. — С кем имею честь? — будто не зная, кто перед ним, спросил он.

— Это моя мама. Зовут ее в деревне тетка Анисья, — сказала Санька.

— Очень и очень приятно! — со значением пожал парень руку старой женщине. — Значит, тетушка Анисья. Прекрасно звучит, прекрасно!

— Позвольте раздеться? — спросил парень, снимая с головы маленькую кургузую кепчонку из черной блестящей клеенки, а с плеч — неопределенного цвета короткий плащ.

— Ах, что это я! — вскинулась Санька, помогая Геральду раздеться и привести себя в порядок. — Проходи, пожалуйста. Мы тут сейчас...

И Санька занялась приготовлением стола.

Анисья провела гостя в комнату, указала на стул, велела располагаться, как дома.

— Как дома? Очень вам признателен, уважаемая. В нашей жизни все может быть... А квартира-то недурна, совсем недурна, — Геральд заглядывал во все комнаты, трогал пальцем стены. — Все очень мило: и обои, и гардины... Правда, мебель не соответствует, придется обновить. В спальне все устроим, как полагается. И вообще...

Договорить он не успел. Санька внесла вскипевший белый чайник и посуду, потом печенье, конфеты.

— По случаю новоселья не грех бы... Да, чуть не забыл. Об этом я позаботился, — парень выскочил в прихожую к плащу и принес бутылку дешевого вина.

— Если дамы не возражают, то по русскому обычаю предлагаю sprysнуть углы нового дома. Чтобы не холодно в нем было и не жарко, царили мир и согласие.

Пришлось выпить и Анисье с Санькой.

Геральд весь вечер развлекал женщин, под гитару пел озорные песни, подражая Высоцкому.

Домой он собрался под утро. Санька вышла проводить его и задержалась. Анисья прибрала со стола, вымыла посуду. Дочери все не было. Вернулась она не скоро, тихая и печальная, в чем-то виноватая.

— Мама, — сказала она, когда они прилегли немного отдохнуть. — Как ты смотришь, если Гера к нам переедет? Я тебе долго не говорила, ты не обижайся, он — мой муж.

— Как это муж? — Анисья поняла: спрашивает что-то не то. — И свадьба, выходит, была? Но я что-то об этом не слышала.

— Свадьбы не было, мама. Есть ведь люди, просто так живут. И ничего, не каются.

— Может, кто и живет. Только не по-человечески это, не по-нашему. В деревне у нас такого не увидишь.

— То в деревне, — шептала Санька. — Жизнь-то разная бывает.

Женщины помолчали.

— Где же он хоть работает-то? — спросила Анисья.

Санька рассказала, что в заводском Доме культуры Геральд заведует художественной самодеятельностью. Играет на многих инструментах — баяне, балалайке, на какой-то трубе.

— Он очень способный, мама, — объясняла Санька. — И в жизни человек хороший. Вот увидишь.

Анисья не стала спорить, она видела: все решено без нее. Сказала только:

— Делай как знаешь. Опять же без свадьбы-то как? Без отцовского благословения? Басурмане мы разве? Ах, Санька, Санька!..

— Ничего, мама. Все устроится, все будет как надо.

На другой день Геральд пожаловал жить к Журавкиным на вполне законных правах Санькиного мужа и Анисьиного зятя. Он занял своими инструментами всю переднюю. Анисья со своим барахлишком пришлось перебираться на кухню.

Так Анисья оказалась в самом неудобном в квартире месте, рядом с кастрюлями, где закрывалась на ночь, коротала в одиночестве заполнен-

ные бессонницей долгие холодные ночи, предаваясь самому доступному для нее в это время — размышлениям.

Первым делом Анисья задумалась, в каких таких святцах добыто заковыристое имечко ее зятя и к какой такой человеческой породе он принадлежит, но придумать так ничего не смогла. И только случайно, приняв однажды к стирке Геральдовы джинсовые штаны с медными заклепками, очищая по этому случаю карманы, обнаружила его паспорт. Бес толкнул ее заглянуть в него. И то, что узнала, вызвало у нее удивление пополам с едкой горечью. Она почувствовала себя сильно обманутой. И кем? Собственной дочерью, от которой такой пакости она никак не ожидала. В паспорте черным по белому было написано, что чернобородый зятек ее никакой там не Геральд, а обыкновенный Гаврила по фамилии Зацепин. Но это не самое главное, что так расстроило старую деревенскую женщину. Еще обнаружила Анисья в том же паспорте красивый голубой штамп, в котором значилось, что разлюбезный Санькин Гаврила женат и имеет двухлетнюю дочь.

Вечером донельзя разгневанная Анисья, пока не пришел с работы Геральд-Гаврила, учинила Саньке допрос с пристрастием: что, мол, может это значить? На что Санька, не смущаясь, ответила:

— А что тут такого? Ушел от жены, потому как я больше ему нравлюсь.

— Ох, Санька. А если он завтра к третьей бабе уйдет, которая еще больше понравится, тогда что делать станешь?

— Придумаем. Да и куда он уйдет? У меня ему неплохо. Я зарабатываю — дай Бог. Проживем!.. Сколько он получает? Ах, мама! Мужчина не обязан сообщать такие пустяки. Главное, чтобы он крепко любил.

Санькина глупость гляделась из каждого слова, и Анисье не оставалось ничего другого, как замолчать. Ее упреки дочери досаждали, в материнских советах она попросту не нуждалась. А зять? Какой это зять! Прощелыга, а не человек. Поживет вот, обчистит Саньку и поминай как звали. Перед старой женщиной во всей своей обнаженности встал вопрос: что делать? И Анисья наконец решила: погостила — и будет. Пора домой.

Не сказав Саньке ни слова, улучив момент, съездила в городскую кассу, выбрала день, когда дочери с ее разлюбезным Гаврилой не бывает дома, и купила на это число билет до той станции, где не так давно горевал ее Иван Ильич, провожая в город. Анисья махнула рукой на большие деньги, которые отвалила Саньке по случаю новоселья, плюнула на ее черномазого хахалю и на саму Саньку. Деньги — дело наживное, а ду-

шевный покой, особенно так дорогой в старости, ни за какие рубли нигде не купишь. И в городе тоже. Только бы Иван ее, в молодости изредка пошаливавший, как некоторые в их деревне мужики, не отмочил бы чего. Но и за него теперь Анисья была спокойна: человеческое тепло ему необходимо сейчас ничуть не меньше, чем ей, хоть и разведенной, но все-таки, вопреки всему, мужней жене.

И вот скорый поезд несет ее туда, откуда она совсем недавно так скоро сорвалась к Саньке, возле которой хотелось пожить, понянчить внуков, отдохнуть душой. Не привелось.

“Значит, не судьба, — подумала Анисья. — Не зря сказано: каждому в жизни свое предназначено. Молодой Саньке одно, а ей — другое”.

На попутном бензовозе она быстрехонько добралась со станции до своего колхоза, а потом и до деревни.

Ворота во двор оказались запертыми. Анисья обошла кругом, проникла в заднюю калитку, через которую ходила к колодцу за водой, и поспешила в избу. И сразу остановилась. Пахло в ней чем-то нежилым, кислым, все углы подернуло тенетами. “Жив ли Иван-то мой?” — испугалась Анисья. Проверив закутки и чуланы, убедилась, что, похоже, он все-таки еще цел. Признаков каких-либо постояльцев не обнаружила. Переоделась в старенькую одежку, принялась за извечное женское дело — греть воду и мыть полы.

Наведя в доме порядок, Анисья присела передохнуть. И только тут пришло в голову: на дворе темно, а Ивана все нет. Подумалось: “Заработался на ночь глядя и не знает, что жена приехала”. Но в сердце все больше стучалась боль беспокойства: уж не случилось ли чего? Накинув на плечи полушалок, заторопилась к соседям. Они и сообщили ей, что Ивана Ильича давно увезли в больницу.

Не чувствуя под собой ног, косматая и кое-как одетая, в чем мыла полы, Анисья поспешила к большой дороге, которая вела в районный центр. Попутного транспорта как на грех не было, и она долго стояла у края канавы на свежем вешнем ветру, не замечая холода. Наконец какая-то пустая легковушка подхватила ее и привезла к больнице. Посреди ночи принялась искать лечебный корпус, где находился ее Иван. Удалось это не сразу. Наверное, через час, если не больше, она добралась до хирургического отделения, где Ивану Ильичу неделю назад сделали операцию. Сделали с большим опозданием, так как за недосугом он долго к врачу не обращался.

Анисью пропустили в палату потому, что Иван Ильич пребывал в тяжелом состоянии. Дежурная санитарка, прежде чем выдать ей халат, обстоятельно отчитала ее за бессовестное отношение к своему мужу.

— Человек без памяти которые сутки, постоянный догляд нужен, а ты прохлаждаешься, будто краля какая. И не молода уж, а ветер в голове...

Пыталась Анисья оправдаться, но санитарка не стала слушать:

— Поторапливайся, девка. А то кабы поздно не было.

Иван Ильич лежал у окна, зашторенного на ночь плотной материей. В небольшой комнате, слабо освещенной настенным синим ночником, никого не было. На тумбочке стояла кружка с водой и какое-то лекарство в мензурке. Белые стены, белая простынь, выбившаяся из-под одеяла, белое, как полотно этой простыни, лицо мужа повеяли на Анисью чем-то не здешним, замогильным. Сердце сжалось в смертельной тоске, и ей нестерпимо вдруг захотелось завывать во весь голос. Она было бросилась Ивану на грудь, но вовремя опомнилась: ведь не умер еще, чтобы реветь-горевать. Иван еще жив и будет жить. Она в этом была уверена. Безносой разлучнице его не отдаст.

— Ах, Ваня, Ваня! Что же я наделала? На кого бросила тебя, одинокого? — кляла себя Анисья. — Будь я дома, ничего бы с тобой такого не случилось.

Анисья знала, что Иван ее давно мается животом, еще с войны, после осколочного ранения, и ей не раз приходилось отпаивать его парным молоком, особенно после длительного пребывания на артельных харчах в дальних бригадах в дни сева или уборки. В молодости Иван особо не жаловался на желудок, но годы делали свое и в последнее время он по этой причине стал отказываться от поездок на полевые станы. Председатель, зная о его ранах, шел старому солдату навстречу.

А тут? Тут виновата она сама. Забыла о его беде, не уберегла. Позволила Саньке забыть об отце, бросилась сломя голову к ней в город. Зачем? Что выездила, на кого насмотрелась? Разве что на дорогого черномазого зятя, о котором даже соседям сказать постесняешься. Не расскажешь людям о поганой жизни, в какую впуталась Санька. Вставали в памяти картины, о которых поначалу не хотелось даже думать.

Однажды вернулся Геральд поздно ночью изрядно навеселе, взял гитару и заорал похабную песню. Санька остановила его, сославшись на то, что матери нужен покой.

— Еще чего? — закуражился он. — Я покажу этой старой кочерышке покой! Давай ее сюда!

Еле тогда уломала его Санька. Анисья же именно после той ночи твердо решила возвратиться домой. И вот приехала. Вернись на недельку пораньше, может, беды не случилось бы. Где молоком, где лаской она отогрела бы мужа, не позволила лихой хвори свалить дорогого и единственного человека.

Иван Ильич тихо застонал. Анисья смочила приготовленную из марли салфетку и, как научила сердитая санитарка, осторожно протерла несколько раз запекшиеся в жару сухие губы мужа. Дышал он очень тихо, и она никак не могла понять: то ли он спит, то ли находится в беспамятстве?

Анисье вдруг почему-то вспомнилось давнее время, когда ее Иван пришел из армии. Долго стеснялся он выходить к молодежи на улицу, считал себя переростком среди гуляющих. Так оно и было. Его сверстники, те, кто вернулся живым с войны, давно уже поженились, обзавелись детьми, а те, кто остались на полях сражений, тихо лежали под сенью кудрявых израненных берез. И еще вспомнила Анисья, как однажды, после не-веселой душевной вечеринки в одной из тесных вдовьих избенок, Иван пригласил ее пройтись по деревне и предложил стать его женой. Ждавшая этих слов и боявшаяся их, Анисья долго молчала, чем привела парня в большое расстройство.

Опомнившись, она взяла его большую тяжелую руку в свою маленькую, легкую и тихо сказала: "Я согласна, Ваня". Они чуть не до утра стояли потом у ворот ее дома, о чем-то говорили, а о чем, вспомнить она уже не могла. И еще подумалось, что судьба не обошла ее счастьем, дала хорошего мужа.

Анисья страстно просила в этот час судьбу смириться и подарить ей еще капельку счастья, дать им прожить свою старость в добром здравии, в мире и согласии.

Но все молчало в палате, молчал и Иван, никак не отзываясь на ее слезные призывы...

Близилось утро. На улице бился в окна, шумел в ветвях старых деревьев, ломая сухие сучья, шальной весенний ветер, сгоняя в ручьи грязные больничные сугробы.

Жизнь вокруг шла своим чередом.

1986 год

Деревенские женщины

*Ты шла, затаив свое горе,
Суровым путем трудовым,
Весь фронт, что от моря до моря,
Кормила ты хлебом своим.*

Михаил Исаковский.

"Дела давно минувших дней..." Кажется, будто вчера это было — жестокая, не на жизнь, а на смерть, война с фашистской Германией. Уже состарились те женщины, о которых сегодня рассказывается, выросли и успели сходить на фронт мои друзья-подростки, дорогие сверстники. Они тоже давно немолоды: кто-то уже успел уйти на отдых по инвалидности или по возрасту, кто-то в меру сил еще трудится, а кто и совсем ушел из жизни. И если о мужчинах и женщинах-фронтовиках мы часто вспоминаем, особенно в годовщину нашей общей Победы или в День Советской Армии, то заводские работницы и колхозницы, "кормившие хлебом весь фронт, от моря до моря", нередко остаются как бы в стороне. Им не всегда воздаем почести, не присылаем к празднику открыток, хотя они заслужили того не менее своих мужей, братьев и сынов, защищавших Родину с оружием в руках.

Предлагаемые заметки — это низкий поклон автора и знак глубокой признательности мужчин-фронтовиков всем деревенским женщинам, работавшим четыре горьких года войны не покладая рук, кормивших и одевавших всю страну и, несмотря на трудности тех лет, поднявших на ноги своих детей, воспитавших их достойными гражданами нашей великой Родины.

1. Чистый хлеб

Ах, Саня, Саня, милая Александра! Сколько тебе было тогда лет? Девятнадцать, двадцать? Должно быть, не более. И все мы, малыцы, рано познавшие почем фунт лиха, понемножку влюблялись в тебя, хотя виду (Боже сохрани!) не подавали. Мы уважали тебя как человека, на которого в трудную минуту можно опереться — ты бескорыстно подставляла нам свое товарищеское плечо. Мы удивлялись твоей выдержке и находчивости, были признательны, когда требовалась дружеская рука, и ты протягивала ее как раз в тот момент, когда обойтись без нее было невозможно. Ты была не только Саней-бригадиршей, как все мы называли тебя, ты являлась для нас одновременно матерью и отцом, не забывая при этом оставаться обыкновенной женщиной, которая, родившись и встав на ноги в деревне, отдавала родной земле всю свою нерастраченную дочернюю любовь.

Сидим с Александрой Ильиничной и пьем ароматный чай из красивых, с яркими маками по бокам, легких чашек с золотыми ободками, ставим их на такие же красивые блюдца. На столе — белые пирожки домашней выпечки, сахар, конфеты... Вся эта благодать в те далекие военные годы не могла привидеться даже во сне. Да и с какой стати? Ведь сновидения приносят человеку реальная жизнь.

Пьем чай, рассматриваем друг друга и вспоминаем прошлое. Не виделись добрых три десятка лет, замечаем необратимые изменения. Саня, когда-то

легкая и подвижная, раздалась в плечах, стала будто бы ниже ростом. Густо поседевшие волосы, свернутые сзади в валок, лежат на голове по-прежнему аккуратными волнами, закрывая верхушки ушей. И только глаза ее, ясные, как летнее голубое небо, лучатся молодым светом, а в тихой, слегка спрятанной улыбке видится прежняя молодая Саня, озорная в веселую минуту и не по-деревенски строгая, если требовалось заставить кого-то из нас сделать то, что в данный момент донельзя необходимо...

Вспоминаем прошлое.

Деревня наша Крутовражье — одна из тех, каких в великой России многие тысячи. Все ее 62 двора объединялись в три бригады колхоза "Трудовик", который возглавлял тогда один из главных в наших местах активистов Семен Трифонович Зверев. Всякое повидали на своем веку бедные наши мужики. И только жизнь пошла на лад, полновеснее стал коллективный трудовень, только принарядились наши женщины в цветастые, городского ситца сарафаны — как вдруг эта проклятая война!

64 человека, чуть ли не целую роту выставила деревня Крутовражье на защиту Родины. Половина из них сложила головы на западной границе, под Смоленском и Оршей, "в белоснежных полях под Москвой", освобождая страны восточной Европы от фашистской коричневой чумы.

В числе первых погиб Санин муж, Александр Константинович. Только не знала об этом Саня до конца войны. Не помогли, не спасли самого дорогого человека ночные ее молитвы с горячими слезами. Видно, не зря сказано: чему быть, того не миновать. Не вернулся с фронта наш самый боевой и находчивый парень Геннадий Яковлевич Журавлев, не пришел сын кузнеца и сам кузнец Дмитрий Дмитриевич, погиб Афанасий Петрович Зверев, тот самый, что первым в нашей деревне получил перед войной среднее образование.

Повторяем имена и фамилии погибших, вспоминаем ныне здравствующих. Саня, опустив голову, прикладывает платок к мокрым глазам, подолгу молчит. Через какое-то время спохватывается, что чай остыл, и в который уже раз устремляется к самовару.

У меня перед глазами свои картины.

Когда началась война, Мите шел пятнадцатый год. Деревенские мальчишки в этом возрасте уже многое умели: жать серпом жито и пасти на лугах коней, вывозить в поле навоз и рубить в лесу дрова... А если не было в доме отца, то подросток вершил и другие мужские дела: мог орудовать топором и косой, плести лапти, подшивать валенки, латать свежей соломой протекающую от дождя крышу или свершить стожок сена для своей коровенки.

В четырнадцать лет научил Митю ходить за сохой добрейший сосед — дед Михайла, заядлый табакур и превосходный матершинник, непечатные слова у которого вылетали чаще в тот момент, когда что-то не ладилось и дело валилось из рук. На удивление Митиной матери первая борозда была проложена им без единой матюшки, и дед Михайла, довольный своим учеником, добродушно окуривал самосадам порывевшие от дыма усы и бороду.

Держать соху в неокрепших руках Мите было ох как непросто! Лемех то зарывался вглубь и лошадь немедленно останавливалась, то уклонялся влево и захватывал пласт полуметровой ширины, образуя непропашку, то выскакивал в борозду, и конь, почувствовав холостой ход, прибавлял шаг... Дед показывал Мите, как, подняв оглобли сохи на чересседельнике, можно уменьшить глубину пласта, как гаечным ключом, повернув отрез сохи острым лезвием влево или вправо, отрегулировать ширину захвата до нормы, когда лошадь ведет пласт ровно, без лишнего напряжения.

Землепашеская наука пригодилась Мите очень скоро. В первый же месяц войны с воем и плачем проводила деревня Крутовражье десять своих лучших молодых мужчин, а их крестьянское ремесло — пахать землю, выращивать хлеб — легло на осиротевших женщин и неокрепшие плечи подростков.

Рано утром после отправки резервистов собрал председатель колхоза Семен Трифонович на конном дворе ребят постарше и сказал, кто на какой лошади будет работать вместо ушедших на войну. Мите достался сивый мерин по кличке Упрямо, которого очень недолюбливал за свою вольность ушедший на войну Митин сосед дядя Алексей. Упрямо отличался несколькими положительными качествами: он превосходно ходил в сохе и бороне, мог без усталости быть в упряжке чуть не целый день. Но стоило ему увидеть стоящую неподалеку лошадь, как он тут же останавливался посреди дороги и никакая сила не могла сдвинуть конягу с места. Эта черта лошадиного характера, видно, и послужила поводом назвать мерина Упрямом.

По сей день вспоминается этот работающий конь. Именно на нем в то жаркое лето Митя вспахивал под пар на кушнурском черноземном поле по шестьдесят и семьдесят соток, а в отдельные дни даже до гектара. Паренек приходил домой уже в сумерках, негнушными пальцами развязывал лапотные веревки и тут же, сидя на пороге избы, засыпал. Мать осторожно поднимала его на кровать, снимала от пота побелевшую на спине рубашку и, как малое дитя, укладывала в постель. Рано утром, смахнув слезу жалости, она будила его, вела к рукомойнику освежить холодной водой лицо. Парень молча, окончательно еще не

проснувшись, хлебал дрожащей от вчерашней усталости рукой пустые ячневые щи, подбеленные снятым молоком, заедал их горьким от лебеды, черным и клясылым, вязнувшим на зубах мякишем, который только с большой натяжкой можно было назвать хлебом. Хорошей муки в этот хлеб попадала самая малость, лишь бы склеилась пахучая горькая масса, замешанная из набранного в поле по весне прошлого года картофеля или высушенных и смолотых на жерновах семян лебеды, а то и раздробленных старых стеблей малиника.

Ржаных отходов на хлеб выдавали пахарям самую малость, и мать умудрялась накормить такой стряпней семью из пяти человек. Кроме Мити, есть у нее просили еще три детских рта.

Чистый хлеб — рожь, горох, ячмень, порой забывая о семенах, посылала деревня фронт. Не раз в такие поездки до станции Шахунья вместе со своими товарищами отправлялся на своем Упряжке и Митя. Одна из них почему-то запомнилась ему, будто была она не сорок с лишним лет назад, а вчера или позавчера.

В один из погожих дней бабьего лета председатель занарядил на станцию десятка полтора подвод из всех трех бригад колхоза, который объединял тогда больше полусотни крестьянских хозяйств деревни. Старшей он назначил молодую солдатку Александру Журавлеву, которую все в деревне звали попросту Саней. Женщина боевая и острая на язык, она пользовалась среди работающих подростков большим уважением. Назначенная в первые же дни войны после отправки мужиков на фронт бригадиром первой бригады, она стала очень строгой, но справедливой начальницей, беспощадно стегала обидными словами мальцов-матершинников, которые считали себя уже взрослыми, учила ребят ухаживать за конем и многому другому, что было так необходимо в повседневной сельской работе.

Саня назначила выезд с восходом солнца, и обозники неторопливо отправились в путь, радуясь погожему дню, весело шагавшим сытым коням. Позади каждой телеги высился туго набитый веревочный “кошель” клеверного сена, а под ним добрых полмешка овса, предназначенного для лошади. Такой фуражный запас имела и Митина подвода, которую, пощелкивая густо смазанными дегтем колесами, ходко тянул Упрямо.

В голове колонны, как всегда, шагал рослый вороной жеребец из третьей бригады. На нем обычно ездил не старый еще мужик Сан Саныч, оставленный военкомом дома по причине нехватки многих пальцев на руках, которые, как говорили, он потерял по пьяному делу однажды морозной ночью. Выехав перед селом на большак, Сан Саныч поудобнее устраивался на возу, накрывался старым пологом и засыпал. Он спал

почти всю дорогу. Умный Воронко знал путь не хуже своего хозяина.

Бывали в таких почти недельных поездках свои привлекательные стороны. До войны Митя дальше Кикнура не бывал. А тут через несколько часов пути открывалось большое, разделенное речкой на две слободы село Тырышкино, за ним — подлесная деревушка Шишкари, потом, уже в Горьковской области, — заросшие со всех сторон дремучим бором Николаевские. На подъезде к станции выплывал из-за поворота поселок кирпичного завода со столярными цехами, откуда отправляли на военные предприятия заготовки для винтовочных и автоматных лож и самые настоящие, доселе невиданные по чистоте отделки лыжи, похожие, для десантных частей.

Шахунья встречала деревенских паровозными гудками, как бы приглашавшими хлебный обоз пошевеливаться и не мешкая проезжать на склады “Заготзерно”. Потом не раз по поручению матери Митя обменивал здесь, у проходящих эшелонов, синеватую яранскую водку-сырец, привозя домой мыло и соль, а то и бутылку керосина.

Обнаруживались и серьезные осложнения, связанные в первую очередь с питанием. Каждому извозчику Саня выдавала на дорогу по паре испеченных своими руками караваев чистого ржаного хлеба и горсть гороховой муки для дорожного киселя. И было бы все хорошо, если бы ездоки не забегали домой и не оставляли половину пайка голодным братишкам и сестренкам. Выехав за деревню, парни уничтожали до невозможного вкусную вторую половину пайка, и когда вечером обоз останавливался на подворье в Шишкарях, чтобы дать отдых коням, самим кормиться уже было нечем. Выручала иногда гороховая мука, забытая в телеге и потому не оставленная дома.

Самое трудное начиналось на другой день. Простояв несколько часов, а то и целых полдня в очереди к высоченным складам-магазеям, подростки, будто муравьи, начинали разгрузку. Дело это оказывалось непростым. Надо было самое малое трех или четырехпудовый мешок ржи по бесконечному множеству крутых лестничных ступенек поднять наверх, под самую крышу, развязать его и высыпать в общий многотонный ворох. К концу первого захода у парня тряслись колени, взмокала под мешком рубаха, пот заливал глаза... Появлялось противное желание свалиться вместе с ношей в огромную кучу теплого зерна, зарыться в нем, уснуть и не вставать до второго пришествия. Но, преодолевая себя, парни шли за очередной ношей и поднимались вверх по бесконечной лестнице еще и еще, не менее шести раз, потому как на каждую подводу грузили по три или четыре центнера хлеба, в зависимости от силы лошади. Саня с шутками и прибаутками

первой очищала от увесистых мешков свою телегу и тут же бросала на мокрое плечо поклажу с воза наиболее ослабевшего ездока.

Сан Саныч той порой оформлял в конторе документы.

Но приходил и конец тяжелой работе. Грязные от пыли и пота, слегка опьяневшие от непосильной физической нагрузки, мальчишки весело погоняли лошадей, выезжая со двора "Заготзерно". Немного отдохнув во время разгрузки и похрустев сеном, кони шустрее взмахивали хвостами и весело трусили порожняком до лесной речки Ваи. Здесь, в лозняке, на песчаном пологом берегу реки останавливались до утренней зари, смывали пот и грязь и на всю ночь давали заслуженный отдых коням и себе.

Голод в этот момент напоминал о себе с особой силой. Ребята начинали тщательно вытряхивать пустые мешки в поисках оставшегося зерна, чтобы сварить из него нечто похожее на ржаную кашу. Но эта затея приносила мало пользы, потому как в складе они работали, забыв обо всем, на совесть, как говорят сейчас, без туфты.

Именно в этот момент умница Саня о чем-то начинала заговорщицки шептаться с Сан Санычем. Из глубины его воза извлекалась грязная, как прах, котомка с несколькими пригоршнями гороховой муки, и тут под громкое "ура" начинался дикий пляс. Мальчишки, будто заранее знавшие, что кому делать, разбегались за хворостом, наполняли речной водой ведро и вешали его над костром. Вода быстрехонько вскипала и на свет Божий при активнейшей помощи разлюбленной Сани появлялся гороховый бессольный кисель, вкуснее которого в те годы ничего, наверное, Митя и не едал.

2. Саня-бригадирша

Саня появилась в нашей деревне за несколько лет до войны. Александр Журавлев, парень по Митиному представлению, ничем особенным не выделяющийся, привез себе красивую молодую жену без особого шума. Тетка Авдотья, Александрова мать, женщина строгая и набожная, встретила молодых у ворот, заставила их встать перед иконой Казанской божьей матери на колени, благословила и только тогда открыла тесовые ворота.

Александр, сияя от счастья, как отполированный на пашне лемех, молчаливо принимал поздравления приятелей, вполуха выслушивая припасенные для такого случая сочные словечки, которые заставляли Саню пылать маковым цветом, прятать глаза от охальных доброжелателей. Тетка Авдотья, пожалев сноху, прикрикнула на парней, обозвала их дуботолками и пригласила гостей к столу.

Пока в Испании шла гражданская война, Александр успел сходить на действительную. Жестокое испытание для семьи Журавлевых приближалось с той грозой, что надвигалась на Европу и все ее окраины. Да гроза, собственно, уже полыхала. Захватив Польшу, фашисты вторглись в Данию и Норвегию, потом в Голландию и Бельгию. А вскоре деревню снова обожгло ставшее забываться после финской кампании леденящее душу слово "война"! Война неотвратимая, вставшая в деревне почти у каждого порога.

Когда сопровождающая резервистов подвода остановилась под окнами Журавлевых, Саня с ревом приникла к горячей груди мужа, как бы всем видом показывая, что никуда она его не отпустит, а на войну тем более. Но жизнь есть жизнь, пришла беда — отворяй ворота, не обойдешь ее, не объедешь.

Александр осторожно разжал руки жены, поцеловал ее и дочку, простился с матерью и под разноголосые причитания женщин вышел из родимого дома, положил в телегу свою котомку рядом с другими и зашагал возле. Голосистая хромка во все свои цветастые меха выдала "деревенскую", и кто-то из уходящих во всю силу своего молодого голоса запел:

*Ты, гармошка—матушка,
Лучше хлеба—батюшка,
Тебя, гармошка, продадут,
Меня в солдаты отдадут.*

После того дня Саня несколько дней не находила себе места, все валилось у нее из рук. Солнечные дни казались тусклыми и ненастными. Короткими летними ночами, забыв про сон, она обильно смачивала слезами подушку, в кровь кусала губы и, особенно не веря в Бога, страстно шептала молитвы. Тетка Авдотья, заметив, что сноха тает на глазах, однажды сказала ей:

— Что же ты воешь, будто похоронила мужика своего. Не одна ты такая, вон сколько вашей сестры осиротело в деревне. За работу принимайся, в огороде-то, погляди, все заросло... И председатель что-то крутится возле нашей избы, поди, должность каку припас тебе.

Старуха не ошиблась. Вскоре Саня стала у нас бригадиром. Взялась она за дело горячо. Поднималась до свету. Пока хозяйки топили печи и ладили немудреный завтрак, успевала побывать у амбаров (еще раз проверяла, закрыли ли старыми снопами соломенную крышу, чтобы осенью не протекала), навевалась к коюхам (ладно ли кормят лошадей), забегала на ладонь (так ли, как велела, убрали прошлогодний хлам: скоро сюда свежие ржаные снопы привезут для обмола-та). Заглядывала на мельницу.

Подолгу задерживалась Саня в кузнице, выпрашивала старого Харитоныча, все ли готово у

него к жнитве. Советовалась: с какого поля начинать, на какое выезжать с жатками и кого на них посадить, куда ставить баб с серпами. На МТС в нашей деревне особо не надеялись, нескольких комбайнов "Коммунар" в прицепе с гусеничным трактором на все колхозы просто не хватало.

Митю бригадирша определила старшим на жатку-самосброску. Видно, потому, что меринок Упрямо и в прежние годы закладывался в жатку коренником, ходил в паре превосходно. Мите льстило такое назначение и в то же время смущало. Смущало потому, что пристяжной в жатке должна ходить худосочная кобыленка, на которой работала соседка тетка Дарья. Надо было думать, что верхом на пристяжной ездить сама она не станет и наверняка посадит свою дочь Тоньку, с которой Митя в то лето не очень-то ладил. Саня быстро развеяла возникшие сомнения, сказав, что сводить старые счета сейчас не время, особенно мужчинам, с чем Митя беспрекословно согласился.

Зачин превратился в праздник. На краю поля у кузницы старый солдат Харитоныч выстроил подготовленное своими руками к страде оружие: четыре старенькие подлатанные жатки, взметнув в небо зубастые граблины, стояли будто по нитке, как на параде. Возле них прохаживались председатель Семен Трифонович и Саня — принарядившаяся, веселая. Митя важно восседал на железном сиденье-тарелке, сравнивая себя с командиром танка. Он изредка посматривал в сторону Тоньки, которая с высоты конской спины явно показывала свое превосходство: на лошади-то — я, куда поверну, туда и поедешь со своей грохотухой, так что не хорохорься!

Первый участок выжали скоро. Хорошо накормленные кони шагали в жатках ходко, по всему полю ровными рядами легли изрядные, ровно на сноп, охапки скошенной ржи. Девки и молодухи в цветастых косынках проворно, тут же скрученным из соломы жгутом, связывали хлеб в снопы, ставили их в суслоны.

Саня шла впереди. Она сноровисто выхватывала из обмолотка нужную прядь, делила ее на две части, обе складывала внутрь пустыми колосьями, тут же ловко скрутив солому, опоясывала ею сжатую кучу, натуго стягивала и, крутанув концы, подтыкала их в боковину ядреного снопа весом, наверное, с добрых полпуда.

И вот уже все поле, радуя глаз, покрылось выстроившимися в шеренги аккуратными суслонами, которые через неделю-другую, как дойдут, этим же людям предстояло обмолотить и пустить зерно для посева на озимое поле.

Страда с каждым днем набирала силу, и вот уже бригада перебралась к лесу, на самый дальний участок. Через несколько дней Саня думала

с рожью покончить. И тут, как на грех, заненасило. Дожди шли несколько дней, расквасили все проселки, в низких местах затопили снопы. О перевозке хлеба на ладонь нечего было и думать: к полю нельзя стало подступиться не только на телеге, но и пешим порядком.

Пробираясь к суслонам по старой меже, почти по колено в грязи, Саня обнаружила в упавших от ветра снопах проросшее и уже уцепившееся за влажную землю зерно. Тоска обволакивала сердце: что делать? Как спасти хлеб, даже не хлеб, а семена, к которым крестьянин издревле относился как к самому дорогому из всего, что имел?

Саня шла со своими думами к председателю. Он и сам мучительно искал ответа на этот злободневный вопрос. Вечером собралось правление. Пришли к одному: поднимать всех от мала до велика, сносить снопы к деревне и развешивать на жердях, которыми огорожены приусадебные участки колхозников.

Легко сказать: высушить ржаные снопы более чем с сотни гектаров. А каково это сделать? Десятка три женщин и подростков брали на плечо по одному или по два снопа, шли чуть не по колено в грязи. С раннего утра и до позднего вечера люди шагали с поля к деревенской околице, разделив сноп в колосьях на две части, вешали его на верхнюю жердь и отправлялись за следующей ношей. Только бы колос не пророс, только бы спасти семенное зерно... Спасти во что бы то ни стало!

Адова работа продолжалась несколько дней. Люди выбивались из сил, и казалось, что ничто не сможет послать их от деревни за очередной поклажей. Но что-то находилось и заставляло сделать невозможное: передохнув с минуту-другую, женщины отправлялись в новый заход, убеждая себя в том, что мужьям и братьям на войне еще тяжелее. Там рядом ходила смерть.

Однажды ночью, под утро, дождь утихомирился, небо вызвездило и со студеной стороны потянуло свежим, совсем не летним ветром.

Саня вывела утром свою бригаду в поле — раскрывать оставшиеся намокшие суслоны, выбирать из воды упавшие снопы. В тот же день несколько подвод с проветренным житом отправили в деревню и посадили сушить в овины. По десятку снопов для просушки в печах получила каждая семья. Упрашивать людей не требовалось, каждый понимал: зерно можно спасти только всем миром.

В разгар этой работы в деревню прибыло пополнение. Ездивший по каким-то делам в Кикнур Сан Саныч привез в конце дня две семьи беженцев. Их было пятеро — женщина с двумя ребятами и старуха со взрослой дочерью.

Оставив жеребца у конторы, Сан Саныч объяснял окружившим подводу женщинам:

— “Кувыренных” вот доставил. В райисполкоме велели везти. Мол, это вам, на колхоз “Трудовик”. Где начальство-то? К кому выгружать?

Из конторы вышли председатель и бригадирша. Саня стала выпрашивать, кто такие и откуда. Приехавшие оказались эвакуированными из Новгорода. Выгружать у них было нечего. У женщины с ребятишками не оказалось даже смены белья. Старуха со взрослой дочерью, назвавшая себя Власьевной, имела при себе совсем небольшой узелок с вещами.

— Как вы жить-то будете, милые? Ведь зима скоро, — запричитали сердобольные женщины. — О, господи, разве так можно? Пропали ты пропадом, фашист проклятый!

Толпились возле подводы недолго. Поплакали, проклиная Гитлера, вспомнили мужиков своих на войне, поохали да поахали. Но прохладаться было некогда: у каждой дел невпроворот.

Саня увела к себе Власьевну с дочерью. Тетка Авдотья, узнав в чем дело, пошла топить баню, предварительно отругав сноху за то, что привела голодранцев и придется теперь делиться с ними куском и одежкой.

Но опасенья ее оказались преждевременными. Соседки вечером принесли, что могли, людей в беде не оставили. Глядя на них, расщедрилась и сама хозяйка. Бабке она подарила свою теплую старенькую поддевку и ситцевый, почти новый платок, а впридачу ко всему достала из подполья горшочек меду, припасенный на всякий случай.

За чаем после бани сидели долго. Власьевна рассказывала, что ее дочь Лида замужем. При эвакуации взяли с собой кое-какую одежку. Но поезд в пути разбомбили, много людей погибло, и как они остались живы — уму непостижимо. Чтобы не навязываться в нахлебники, Власьевна заявила: родом она из деревни и когда-то умела делать всю крестьянскую работу. Дочь она тоже научит. И они за все рассчитаются. Только бы пережить осень да зиму, там они и домой уедут.

На что тетка Авдотья не без обиды сказала:

— Ладно уж, чего там... У всех теперь горе-беда. Только бы прогнать ирода-немца. Может, и вправду зимой все кончится. А изба у нас большая, места хватит, живите.

Ох, не знали женщины, никто не знал, сколько быть этой проклятой войне и кому на роду написано остаться в живых, а кому сложить голову, когда ей, проклятой, конец наступит.

3. Ячмень для ярового поля

Весна в тот год подступила неожиданно. Кажется, еще вчера страшила зима по утрам ядреными заморозками, пугала чуть ли не февральскими метелями, а сегодня природа обрадовала людей ярким солнцем и майским теплом, хотя на дворе стоял конец марта.

Саня загодя послала баб с лопатами разгрести тропинку к кузнице, очищать от снега свезенные сюда с осени тропачи и бороны. Сохи хранились в отдельном сарае, и о них бригадирша особо не беспокоилась, знала, что кузнец Дмитрий Харитонович, как всегда, не подведет. Он еще с осени немало возился с ними, снял затупившиеся лемеха и отнес в кузню: довести их до ума потребуются считанные дни.

Особая забота была у Сани о семенах, их не хватало. Перед войной, да и в первый ее год, когда в колхозе “Трудовик” председательствовал Семен Трифонович Зверев, крутовражская сельхозартель о многом не знала заботы, о семенах, понятно, тоже.

Промашка с семфондом вышла в прошлом году. Да и какая это промашка? Нет, это была самая настоящая глупость, которую допустил новый председатель, никчемный мужичонка, увильнувший от мобилизации по причине какой-то хвори и вставший на высокую должность по чистой случайности. В деревне его недолюбливали за бахвальство и пустопорожние речи. На собраниях он заливался соловьем, бил себя кулаком в грудь, божил, когда слишком завирался. Люди ему не верили. Это он, не спросив у народа, послал в район бумагу с печатью, где выдвинул идею сделать запруду на овраге, что в западной части селения, который уходил одним своим рукавом к деревне Кушнур, а другим — к Большой Люе. Поднимет, мол, эта запруда воду по самые края оврага и будет в Крутовражье своя река не хуже Кокшаги или Усты, которые впадали одна в Волгу, а другая — в Ветлугу. К счастью, проект тот в районе отвергли и дали, говорят, умной голове нахлобучку, велели заниматься председателю, чем полагается.

Эта умная голова (за глаза так и звали председателя) решила прошлой осенью, во время хлебозаготовок, отличиться. По сельсовету не складывался план, и райуполномоченный наркомзага, собрав в Потняк всех колхозных руководителей, велел подумать и изыскать резервы, чтобы побыстрее план выполнить на все сто. В “Трудовике” на другой же день снарядили обоз с десятком подвод и вывезли зерно на приемный пункт.

Председателя того вскоре сняли, поставили другого, но семян до сей поры не сыскалось. Бабы посылали в район делегатов, они долго обивали пороги во многих конторах, пока не велели им: ждите!

И вот в деревню пришла бумага из райзо на счет семенной ссуды. Получать ячмень предписывалось из глубинного склада, расположенного где-нибудь, а в далеком селе Кокшага. Пока правленцы раздумывали, как вывезти зерно да кого послать, санная дорога рухнула, поднялись у мостов малые речки, образовались “зажоры” и

вывозить семена на конях нечего было и думать.

Саня стала искать выход. Вечером собрала она у дежурного десятника всю бригаду и поставила задачу: доставить семена в деревню на себе. Особого удивления это не вызвало: в ту пору на своем горбу приходилось многое делать, даже пахать огороды. Стали подбирать "войско" из тех, кто может обыденкой пройти до глубинки и обратно добрых шестьдесят верст с поклажей в 15-20 килограммов за плечами. Казалось бы, велик ли вес? И глупая пацанва (а ребятни в работниках значилась добрая половина) поддержала бригадиршу с восторгом. Но женщины постарше призадумались, дело было не каждому по силам. Стали называть лишь тех, кто покрепче, повыносливей. Таких набралось десятка два.

В их число попал и Митя. Рассказав матери о предстоящем завтра "боевом" походе (так называла этот необычный рейд Саня), Митя велел приготовить ему котомку побольше. Мать, хорошо понимая, что за труд ему предстоит, горько всхлипнув, хотела было пойти к бригадирше с отказом за сына, но раздумала: как ни жаль парня, а семена — дело святое, неотложное. Хлеб фронту нужен каждый день. Она нашла холстину помягче, сшила аккуратный мешочек, приладила к нему две широкие лямки, чтобы не так сильно врезались в плечи, примерила котомку на себя и, довольная сделанным, прилегла отдохнуть: до утра времени оставалось мало.

Чуть только рассвело, Санино войско двинулось в путь. Ночью хорошо подморозило, шагалось легко, под ногами весело похрустывал ледок. Двенадцать верст до Кикнура прошли споро, без отдыха. В селе присели у сельповской столовой, двери которой по раннему времени еще были закрыты, перекусили кто чем и пошли дальше. За селом, с правой руки, их встретило солнце — огромное, красное, объятное большим белым кругом. Кто-то подал голос: "Пурги бы не наворожило..."

В изменение погоды не верилось: день разгорался ядреный, пригожий. До Кокшаги дошли легко, уже к полудню были на месте, не заметив оставшегося позади неблизкого расстояния. На складе тоже управились быстро, получили что надо. Осталось пообедать взятыми из дома харчами и двинуться обратно, что без промедления и сделали.

Первый привал на обратном пути вышел за лесом, неподалеку от деревни Кузнецы. На старых бревнах, брошенных кем-то на обочине дороги, сели отдохнуть. Многие бодрились, но Саня видела, что первые пять верст с грузом не прошли даром. Ребята раскраснелись, вытирали рукавами пот, лениво поругивались. Лучше чувствовали себя Санины подружки-солдатки да дев-

ки из тех, что постарше. Они неторопливо переобувались, расправляли портянки, потуже завязывали у лаптей веревки. Глядя на них, Митя сделал то же самое. Развязав первый лапоть, он с удивлением обнаружил, что одна из веревок чуть держалась — пришлось ладить узел. Пока возился с обувью, Саня уже поднялась и скомандовала:

— Пошли дальше, бабье войско! Да не растягивайтесь, а то отстанете, растеряемся все.

— Какие мы тебе бабы, — заворчал сидевший рядом с Митей его друг Егорка, парень увалистый, на ногу тяжелый. — Мы еще им, этим девкам, покажем, где раки зимуют.

Потихоньку тронулись: тяжесть в ногах после короткого отдыха не прошла, будто и не было привала. Оглядев растянувшихся по дороге людей, Саня подумала: "Как-то до дому добредем? Ох, нелегкое это дело!" Однако ничего, потихоньку пошли да пошли...

Вскоре добрались до деревни Турусиново, потом до Кукушен. Вдали появился Кикнур.

На подходе к селу повалил мокрый снег, сбому свистел в кустах свежий ветер. Идти с грузом и без того было не сахар, а тут эта помеха. К тому же у многих лямками до крови натерло плечи и это вызвало нестерпимую боль. Санино войско приуныло, сбавило ход. При такой скорости трудно было рассчитывать засветло попасть домой.

Нужен был хороший привал, и Саня объявила его в райцентре. Завела всех в столовую, на свои деньги напоила бригаду сладким чаем. Поужинали, привели себя в порядок, переобулись. Тем, кто натер плечи, Саня велела снять рубахи и смазала ссадины каким-то жиром. У сильно ослабевших (их оказалось пятеро) часть зерна пересыпали в другие мешки. Бригадирша прибавила в свой сидор добрых полпуда, облегчив поклажу у Егорки и еще у одной девчонки.

Кто-то высказал мысль насчет ночлега, но ее дружно отвергли, решив идти хоть всю ночь, но добраться до места во что бы то ни стало. На дворе уже опустились сумерки, и Саня строго наказала держаться поближе, не терять друг друга из виду.

За дверями столовой, на улице, путников встретила метель. К счастью, из-за туч время от времени показывался месяц, немного освещая окрестности. Идти с грехом пополам было можно. В голову колонны Саня направила Митю с Егором и двух женщин, а сама встала в ее хвост.

Все шло как будто хорошо, дело клонилось к завершению похода (до деревни оставалось немногим более пяти километров), Саня видела уже свое войско у победного рубежа. Но тут произошло непредвиденное: шагавший рядом с Митей Егорка вдруг, запнувшись, со стоном упал и протянул поперек дороги свои обутое в лапти ноги. Митя снял с себя котомку с семенами и наклонился над другом. Парень тяжело дышал и что-

то мычал непонятное. Колонна, наткнувшись на живое препятствие, остановилась. Сзади уже торопилась к месту происшествия бригадирша.

— Почему стоим? — строго спросила она, но разглядев неладное, наклонилась над Егором.

Скупой свет луны выглянул из-за разорванных облаков и тут все увидели, как тяжел на Саниных хрупких плечах мешок с ячменем. Он грузно свесился вправо и вниз, в сторону лежавшего на снегу человека, норовя его придавить и, казалось, саму Саню клонил лечь рядом. Лицо ее было мокрым, на выбившихся из-под полушалка волосах примерз густой куржевиной снег. Молодая женщина казалась невероятно белой, похожей на покрытую снегом юную елочку на опушке леса.

— Ты что это надумал, Егорка? — блеснула Саня влажными глазами. Сбросив с плеч поклажу, Саня левой рукой подняла от земли голову парня, протерла концом нижнего чистого платка его глаза, вытерла лицо. — Ну-ка, вставай, лежать сейчас тут некогда, да и постель жестковата, — шутила бригадирша. — До свадьбы все пройдет, не тужи.

Парень медленно, с помощью женщин сел, обвел людей мутным взором:

— Чего это я, а?

Ему помогли встать, ссыпали все его зерно по другим котомкам и тихо, будто не веря, что оставшихся сил еще хватит передвигать ноги, двинулись вперед.

Ветер, словно пожалев людей, начал утихать, снег не кидало в лицо с прежней силой, и шагать стало намного легче. Только мешки становились все тяжелее, все ниже опускались женские и ребячьи плечи, головы клонились к груди. Уже мало кто смотрел себе под ноги, примолкли разговоры, шли инстинктивно, как старые кони, с одной мыслью в голове: только бы не упасть, не осрамиться, только бы дойти!

Но уставших донельзя людей ждала еще одна неприятность. Где-то у Потняка шагавший в середине колонны Витька дико заорал:

— Эй, вы! Какого хрена? Мне не до шуток! Куда дели мой мешок?

Путники остановились и тут выяснилось, что Витька на ходу, похоже, уснул, слабо затянутое вязево его мешка распустилось и зерно высыпалось на дорогу. Желтоватая ячменная полоска отчетливо виднелась на освещенном луной снегу, большая часть его оказалась затоптанной ногами. По горсти, по щепоти собирали его люди, ползая на коленях и превозмогая жестокую усталость.

Когда общими усилиями все семена до зернышка были собраны, Витька вдруг заартачился:

— Не могу больше, сил моих нет... Хоть убейте, не могу!

Женщины, посоветовавшись, стали развязывать

окоченевшими руками свои сидора и ссыпать зерно себе, кто сколько мог. Им на помощь пришли и подростки.

Саня, продрогшая в легкой поддевке и зверски уставшая, обратилась со словами призыва:

— Дорогие вы мои, ребятки, потерпите, милые! Осталось немного, совсем немного... Вашим отцам и братьям на войне еще труднее. А ведь они терпят... Да что там "терпят" — они бьют вражину фашистскую, кровь свою проливают...

Саня передохнула, вытерла концом полушалка губы и тихо сказала:

— Пошли, что ли, бабы.

Все медленно двинулись за своим вожаком.

* * *

Бригадирша водила свой летучий отряд за семенами еще несколько раз. И не только в Кокшагу. Глядя на нее, снаряжали такие же группы вторая и третья бригады колхоза "Трудовик". Шли люди с тяжелым грузом за плечами до мути в глазах, до колотья в животе, до изнеможения. Мочили лапти в вешней воде, просаливали рубахи едким потом. Простужались. Лечились заваренной в кипятке сушеной малиной, калили бока на жаркой спине русской печи. Отходили, воскресали. А назавтра, не жалуясь на хворь и усталость, сноровисто делали свое крестьянское дело, готовились к посевной.

Шла вторая военная весна, весна 1943 года.

4. Поезд идет на восток

Вот уже вторую неделю эшелон идет на восток. Его подолгу задерживают на больших станциях, водят новобранцев в специально устроенные в крупных городах столовые, кормят горячим и выдают на несколько дней сухой паек, какой полагается солдату. Однажды побаловали даже баней. И пока мылись по очереди пассажиры из всех вагонов, прошла почти половина суток.

Зато семафоры открывали зеленый свет всем воинским составам, следовавшим в обратном направлении — на запад. Шел третий год войны. Уже отгрохотали сражение под Москвой, Сталинградская битва, танковое побоище на Курской дуге. Но жестокая фронтовая мельница требовала новых и новых пополнений в живой силе и технике. Митя это понимал и немало удивлялся, почему их везут в другую сторону. Позади остались Молотов (Пермь) и Свердловск, Омск и Новосибирск, вот-вот должен показаться Красноярск. Куда, зачем? Об этом никого не спросишь, да и не скажут. Поистине, начальству виднее.

От нечего делать парни жевали приготовлен

ные матерями на дорогу сухари. Кое-где в теплушке резались в карты, пиликала гармошка, и было шумно. Митя лежал на верхних нарах у окна. Подолгу смотрел на мелькающие телеграфные столбы, на редкие строения маленьких станций, любовался незнакомой природой. Стояло солнечное предзимье, поезд проходил по заснеженной местности. Усиливались морозы, и дневальные в вагоне беспрерывно топили "буржуйку".

Мите не далее как вчера исполнилось семнадцать лет. Все эти дни на сердце лежала вязкая грусть и непрестанно думалось о матери. Он корил себя за то, что не успел на всю зиму запасти ей дров, а зима, похоже, будет снова суровая. Мать осталась дома сама четвертая, и одной ей придется ой как не сладко. Что ни говори, а в последние годы Митя был ей хорошим помощником в хозяйстве, она не знала многих мужских забот.

Под мерный стук вагонных колес хорошо думается, и то ли во сне, то ли наяву вставляли одна за другой картины недавнего прошлого. Особенно ярко прорисовывалось в памяти событие, когда он принес матери первые, своими руками заработанные деньги. С лучшим другом Витькой Мишиным, с которым они больше полугода были под Свердловском в школе ФЗО, а теперь вот едут в одном солдатском вагоне, они, оба росшие без отцов, отправились тогда в Кикнур на заработки, прихватив с собой топоры и поперечную пилу.

Работа нашлась в первом же месте, где спросили. Заведующая столовой, толстая хмурая тетя, отвела их во двор, весь заваленный сажеными осиновыми сутунками. Они пилили, кололи и складывали дрова почти целую неделю. Неразговорчивая начальница оказалась добрым человеком. Она вечером, уходя домой, наказывала поварам, чтобы мальчишек не забывали покормить, и те делали это трижды в день, снабжая их супом и кашей. Для ночлега парни выбрали уютный уголок на сеновале в сарае, где стояла столовая лошадь.

Память подсовывала не сам утомительный и тяжелый процесс пилки-колки дров, а тот момент, когда Митя отдал матери первый в своей жизни заработок — красную тридцатку, по довоенным временам деньги немалые. Мать всплакнула, прижала к себе нестриженую мальчишечью голову и с горькой радостью сказала:

— Вот, кажись, и кормилец вырос.

Мать дорожила каждой копейкой, шла на самую трудную колхозную работу только для того, чтобы было чем накормить и одеть ребятишек. Сколько помнит Митя, она работала на ферме — стряпала у телят и свиней, а потом на коровнике. Дел там хватало, не меньше было их и дома, причем не только по хозяйству. За те полгода,

что Митя провел в школе ФЗО, мать выполняла такую работу, которую, наверное, не осилить иному крепкому мужику. До войны часть принадлежащего вдове огорода за оврагом за ненадобностью не использовалась и там вымахала ядреная березовая роща. Ребята, отправляясь с решетом на рыбалку к ближайшей речушке, иногда набирали там по полному картузу обабков. Вот эту рощу, размером с добрый десяток соток, мать, женщина невысокая и худенькая, почти всю выкорчевала с помощью лошаденки за одно лето, потом вспахала и обработала, осенью посеяла рожь, а весной по подтаявшему снегу раскидала семена клевера с тимopheевкой. Бросовая за оврагом земля всю войну, да не один год и после нее, кормила коровенку, без которой жить в те годы семье было бы очень тяжело.

Еще десятилетним мальцом Митя помогал матери на ферме: носил из неблизкого колодца воду, сбрасывал с сарая сено и разносил его телятам или топил десятиведерный котел, кипятком из которого мать заваривала на корм свиньям пустые льняные головки и клеверный пыж.

В первый год войны, когда Митя уже работал на лошади, помощницей у фермянки Зины стала Лида-музыкантша, эвакуированная из Новгорода, бабки Власьевны дочь. Мать рассказывала, что Лида очень старалась, училась колоть дрова, студила свои тонкие длинные пальцы на холодном ветру, шустро пробегая от обледевшего колодца с ведрами. Сжалившись, мать принесла своей помощнице старые, обшитые дерюжкой, варежки и поношенные шерстяные носки. В ожидании, когда вскипит котел, женщины беседовали о своей горькой судьбе. Лида часто вспоминала мужа и все спрашивала, не холодно ли ему в окопах на передовой. Зина успокаивала молодую подругу, говорила: муж ее вернется и все у них будет хорошо, они заживут как надо.

Мать не знала тогда, что через каких-то два года, поздней осенью 1943-го, во время пожара на новой ферме Лида сильно обожжет руки и долго проваляется в больнице, потеряв надежду продолжить свою музыкантскую карьеру. К счастью, все обошлось, врачи постарались, но на ферму она больше не вернулась, о чем животноводки очень сожалели.

Ферму эту, на западной стороне деревни, неподалеку от ветряной мельницы и овощехранилища, начал строить еще перед войной тогдашний председатель Семен Трифонович Зверев. Он вместе с другими кикнурскими партийцами в начале войны ушел добровольцем на фронт, а на стройке долго стояли голые стены без стропил, пока несколько стариков не взяли подряд довести дело до конца.

Ферма тянулась в длину на добрую сотню метров, и ее желтую тесовую крышу можно было увидеть за несколько верст. На зимовку сюда свели

коров и телок со всего колхоза, которые ютились до этого на двух или трех пустующих дворах еще со времен коллективизации.

Пожар возник рано утром 25 октября. Митя запомнил этот день потому, что они, пятеро парней двадцать шестого года рождения, на легких санках ездили в райцентр на призывную комиссию. Накануне выпал снег, и, пока молодежь гуляла на прощальной вечеринке, крепко подморозило, и они, не заходя домой, завернули на конный двор, запрягли выделенную для такого случая лошаденку получше, с песнями под голосистую хромку выехали за деревню. Когда вывернули из проулка, кто-то заметил на сеновале новой фермы огонек, но этому факту не придали значения. Подумалось: сторож решил уважить фермянок и сбросить к первой кормежке соломы.

Так оно и было, как выяснилось потом. Пожар возник от неосторожного обращения с огнем. Парни узнали о постигшем колхоз несчастье после всех. Ферма сгорела почти дотла, похоронив под головешками немало скотины.

Деревня всполошилась, когда было уже поздно: огонь охватил кровлю, дым густо заполнил стойла и проходы, и людям стоило немалых усилий, чтобы выгнать на улицу перепуганных и ревуших животных. Первыми увидели пожар в домах, расположенных окнами в сторону фермы.

Саня-бригадирша и ее жиличка Лида прибежали на пожар, когда тут еще никого не было. Они открыли широкие двери в конце строения, а потом взялись вытаскивать из стойла обезумевший скот. Что творилось вокруг, женщины не замечали, думая об одном: только бы не упасть, не задохнуться от едкого дыма и вытолкать рогатых упрямец на улицу... Их самих потом бабы выволакивали на воздух под руки — очумевших от угара и нечеловеческого напряжения, заставившего забыть обо всем, даже о собственной жизни. Через несколько минут после этого крыша в центре строения рухнула, и огромный столб пламени, объятый искрами, полыхнул с таким грохотом, будто одновременно бабахнули из нескольких пушек.

Когда парни вернулись из Кикнура, возле черного холма из обгоревших бревен и головешек на месте фермы еще толпился народ. Митя нашел мать не сразу и с трудом узнал ее. Черная от копоти, в прогоревшем ватнике, сразу постаревшая, она стояла среди убитых горем фермянок. Едва державшиеся от усталости на ногах, женщины ревели в голос как по покойнику. Саню с Лидой уже увели домой. Пепелище обволакивала густая гнетущая тишина...

— Эй, друг! Ты что там, не дрыхнешь ли? А ночь куда девать будешь?

Митя очнулся от дум: Витька Мишин больно тянул его за ногу и звал ужинать. Вагон потряхи-

вало на стыках рельсов, качало на крутых поворотах. Поезд, отсчитывая версты, все дальше и дальше уходил на восток...

5. Святой день

Первые дни той знаменательной весны порадовали людей теплом и солнечным ведром. Полевые работы Санина бригада начала дружно, зерновые посеяли быстро. Только хотели переходить к посадке картофеля, как пошли дожди и коней пришлось переводить на вывозку навоза в паровое поле. И вот уже бабы большой артелью очищают хлевы колхозников от накопившегося за зиму перегноя.

Во двор под погрузку заходили сразу две лошади, и женщины разделились на группы. Из хлевов телеги загружались в течение каких-то нескольких минут. Работа была не из легких, очень даже не женская, и люди уставали. Короткий отдых получали, когда заполненные телеги выводили, пошумливая на коней, заменяющие мужиков подростки. Но вслед за ними подворачивали к дверям новые подводы.

— Пошевеливайтесь, бабоньки! — закричал, вставая со своей телегой на погрузку, Егорка Журавлев. — По трудодню сегодня надо всем заработать. Так что прохладиться некогда.

Егорка, как и все его сверстники, рано познавшие нелегкий крестьянский труд, был невысок ростом, кряжист и неуклюж. И кто-то из женщин неласково заметил:

— Да уж с тобой заработаешь, подставляй карман!

Сане почему-то вдруг вспомнилась прошлогодняя осень. Такая же как сегодня, дружная работа, и эти вот мальчуганы, которым впору еще верхом на палочке скакать, ходить по грибы да пасти лошадей. Но некоторые вполне осознанно понимали, что без них в лютую пору не обойтись, и они старательно выполняли то, что в довоенное время делали их отцы и взрослые братья. Все женщины и ребята из бригады, включая школьников, кто с ведром, а кто с вилами убирал урожай. Картофель — второй хлеб, и в деревне больше, чем где-либо, оправдывал свое название.

Бабье лето было в разгаре, пора стояла благодатная, но дело двигалось медленно. Что ни говори, а с вилами далеко ли уедешь? Тогда-то Саня и решила пустить в ход тяжелые конные черкуши. Запрягли несколько лошадей, и дело пошло веселее: ребятам оставалось только собирать в ведра клубни и высыпать их в мешки.

Самая тяжелая работа ложилась на плечи тех, кто отправлял картошку с поля в деревню, а там развозил ее по подпольям. Хорошо, если в доме вела в подпол дверца с улицы. Тогда грузчик, взвалив с телеги мешок на спину, с грехом по

полам пробирался к отведенному месту, сбрасывая с себя поклажу, очищал тару и, вздохнув облегченно, вылезал на свет божий. К неудовольствию ребят, лазы имелись далеко не во всех избах, и грузчикам доставалось. Попробуй-ка с трехпудовым мешком пройти двором в темные сени, найти там дверь в избу, у лаза в подполье осторожно опустить поклажу к ногам, чтобы — спаси и сохрани! — не побить случаем у хозяйки какие-нибудь горшки-чугунки. А потом спустить мешок в хранилище и высыпать картошку куда следует.

На отгрузку клубней подбирались парни покрепче и обязательно кто-то из женщин. Чаше всего Саня бралась за это сама.

Осенью Егорка вызвался пойти на отгрузку. Работал он вначале старательно, пытался даже обогнать бригадиршу по количеству высыпанных мешков. Но после обеда выбился из сил и скис. Сане пришлось отправить его в поле, взяв на себя дополнительную нагрузку. Она тогда так устала за день, что еле добралась вечером до постели.

...С утра этот майский день не предвещал ничего особенного в жизни деревни.

Женщины переходили со двора во двор, ловко кидали вилами в телегу перепревшую солому, понуждали лошадей, подшучивали друг над другом. Дело клонилось, кажется, к вечеру. Вдруг неподалеку от работающих, в переулке, по которому пролегла ближняя дорога в Потняк, послышался кричащий что-то женский голос.

Кто-то сказал:

— Уж не горит ли где?

Бабы всполошились и высыпали на улицу.

Простоволосая, с пустой казенной сумкой на плече, из проулка мчалась к ним Маня-почтальонша.

— Ой, девки, новость-то какая!..

Маня задыхалась от быстрого хода и переполнявших ее чувств. Женщины тут же окружили ее.

— Погодите, сейчас все расскажу. Из Кикнура в сельсовет звонили... Сказали: войне конец!.. Угробили Гитлера-то, чтоб ему, черномазому!..

— Да ты не врешь? Смотри, этим не шутят, — загомонили женщины.

— Вот вам истин Бог — не вру, — Маня наскоро трижды перекрестилась, вытерла платком вспотевший лоб и уставилась на всех своими ясными, как родное небо, глазами.

Люди уже ждали этого дня, знали, что война давно катится по Европе, что бои идут уже в Берлине. Но долгожданная весть как-то не проникала до глубины сознания, казалась нереальной.

Все сразу примолкли. Руки женщин невольно потянулись к концам повязанных на головы платков.

Глаза наполнились непрошеной горячей влагой. Верилось и не верилось. Четыре минувших года

были такими долгими, такими в одиночестве невероятно тяжкими, что никакая человеческая мера, казалось, измерить их глубину и печаль была не в силах.

Ошеломленные новостью, женщины долго молчали. У каждой была своя дума, у каждой вера и надежда на скорое возвращение самого близкого человека. Пока только вера, только надежда. Чуть ли не из каждой избы провожали они мужиков на фронт, во многие пришли маленькие листки с синей печатью на грубой бумаге, извещавшие, что рядовой такой-то пал смертью храбрых и похоронен со всеми воинскими почестями. Таких листков пришло в Крутовражье больше трех десятков, а всех ли минула сия горькая чаша?

Вот эта главная мысль как раз и роилась в головах женщин, вызывая у тех, чей муж пришел по ранению, слезы радости (больше на войну не возьмут, жив остался), а у других иные, совсем невеселые размышления: что теперь делать, как жить?

Саня пришла с работы поздно, собрала девочкам поужинать. Поставила и себе стакан с молоком, положила кусочек черного липучего хлеба, склеенного мукой наполовину с собранной в поле мерзлой картошкой. Есть не хотелось. Одолевала назойливая мысль: кто она теперь? Выходит, вдова солдатская. В этом сомневаться не приходилось, подтверждено документом — маленьким листком серой бумаги со штампом военкомата.

Вдова... А ей всего-навсего двадцать пять! С мужем своим, Александром, они не прожили и двух лет. Только поженились, пришло ему время идти на действительную. А как отслужил — вскоре финская война призвала солдата. Не успел вернуться — снова война, война большая, война-разлучница. Одна радость осталась человеку — дети. Как любил Александр старшенькую Любу, как радовался, что растет, будто стебелек на весеннем лугу, как травинка к небу тянется. Вторая дочь, Саша, родилась без него, он уже на фронт ушел, ее совсем не видел. И тоже был очень рад, когда Саня сообщила ему об этом. Писал: пусть, мол, растет дочка, скоро вернусь.

Девочки что-то завозились за столом, младшая, прислонившись головенкой к материнской руке, спрашивала:

— А ты что не ешь, мама? Не хочешь? А мы погуляем еще... Почему поздно?

Отправив девочек спать, прилегла и сама Саня. Но сон не шел, мысли возвращались к прошлому, светлому и счастливому.

Отец отделил Александра и отдал ему новехонькие срубы. Оба они тогда все лето и осень ладили свое гнездо. Ставили избу на мох плотники. А потом Сашины друзья, позванные на помощь, в один день подняли крышу, настлали пол, поставили оконные косяки, навесили двери. Остальное они доделывали своими руками. Даже зау

голки, на зависть всей деревне, обшил Александр строганными белыми досками, нарезал столбы к крыльцу, вставил в сени светлую оконницу.

Взяли Александра на фронт в разгар сенокоса. Семь стогов клевера считали в тот день в первой бригаде, принялись за восьмой, решив свершить его по холодку, после захода солнца. Тут вот, как раз вечером, и принесли ему да еще несколькими молодым мужикам военкоматовские повестки. Рано утром следующего дня отправились в военный комиссариат мужа Мани Басмановой, Поли и Ольги Журавлевых, Любы и ее соседки Павлины.

Бодрились мужики, виду не подавали, а грусть наполнила глаза. Как могли успокаивали своих молодых жен. Александр сказал на прощанье: "Жди, вернусь с орденом". А Николай Владимирович выразился по-своему, как в старину говаривали, уходя на битву с врагом: "Или грудь в крестах, или голова в кустах".

Так вот и остались женщины одни.

Жили по-разному. Общими для всех были работа и вести с фронта. Недосыпали, недоедали, отказывали себе в самом необходимом: только бы выстоять, только бы свалить ненавистного врага.

И вот он пришел, этот день, святой день победы. Можно с облегчением вздохнуть. Поставить точку. Успокоиться. А как? Ведь, что ни говори, а не всех теперь будет одаривать своею щедрою лаской весеннее солнце! Самые счастливые, выходит, те, у которых, наперекор всему, мужа с войны вернулись. Пусть без руки, ноги и даже потерявшими зрение, как в соседней деревне. Но пришли живые, или придут.

Сане ждать было некого. А может, врет "похоронка", и жив ее муж? Как об этом узнать, у кого спросить? Ведь были же случаи, когда назло печальному извещению солдат вновь становился в строй, в радость семье и на удивление всей деревне возвращался после госпиталя домой.

На этот счет она кое-что уже предпринимала. Еще прошлой осенью, когда с полей все прибрали и скот поставили во дворы, совершила неблизкий поход к своей девичьей подружке в не очень дальнее село Матвинур, у которой, по слухам, муж вернулся по инвалидности.

Саня пришла в село где-то посередине дня и застала знакомую семью за обедом. В переднем углу за столом, рядом с двумя белоголовыми ребяташками, сидел сам солдат и хлебал ячневые щи. Пустой левый рукав его застиранной окупной гимнастерки был подоткнут под ремень. Заросшее волосом лицо показалось Сане суровым и неприветливым.

— Проходи вперед, землячка. Садись, гостьей

будешь, — сердечно пригласил хозяин. — А ты что, Маня, — позвал он с кухни жену, — своих не признаешь? Встречай задушевную подружку.

— Это ты, Николай? — удивилась Саня. — Приведись где встретиться, ни за что бы не узнала.

— Узнаешь тут... Вишь, что проклятый Гитлер сделал, — Николай тряхнул рукавом. — Оттяпал руку-то... И куда я теперь? Ни лапоть сплести, ни топор держать. Пришел к своей бабе в на хлебники.

— Зачем так-то ты, Коля? — ласково укорила солдата жена. — Уж как-нибудь проживем. Слава Богу, пришел с войны. У Сани вон...

Женщины, вдоволь поплакали, рассказывая о своих невзгодах, справились о здоровье детей, родных и близких.

— Я вот зачем пришла, Николай, — успокоившись после душевного разговора с подругой, сказала Саня. — Не видел ли ты там моего? Может, встречались? Извелась ведь вся...

— Эх, землячка, — тяжело вздохнул Николай. — Врать не буду, не видел Александра, а то бы весточку привез и прийти к вам не поленился. Крепись, Саня, и мужайся. Коли пришла бумага, значит, погиб. Военкоматовская контора редко ошибается.

Весь двадцатикилометровый обратный путь Саня шла, не замечая болотистой лесной дороги. Лишь в поле, подойдя к крайним домам деревни, очулась от дум и поняла, что это Большая Люя. Девочки ее потеряли тогда и были несказанно рады позднему возвращению матери.

В соседние и дальние деревни хаживали при малейшей новости истосковавшиеся ее товарки по несчастью. Но тщетны были все их усилия. Не зря сказано: с того света не возвращаются.

...Во дворе громко хлопал крыльями и подал хриплый спросонок голос краснохвостый забияка-петух. На крик его отозвался второй, третий, шумно и раскатисто заголосили птицы по всей деревне. Саня вздрогнула от неожиданности. Скоро рассвет, а она, похоже, и глаз не сомкнула.

Да, скоро утро. Утро нового дня, первого дня победы. Время вставать, готовить завтрак девочкам. Надо, стало быть, жить. Жить, вопреки невосполнимой горькой утрате.

А как одной жить-вековать? Ответа на этот вопрос Саня не находила.

* * *

Вот и все о моих друзьях-однодеревенцах, по-крестьянски ломавших в глубоком вятском тылу суровую войну. Раскидала их, кто остался жив, судьба по дальним от родных домов местам. До

рогая нашему сердцу Саня, Александра Ильична Журавлева, давно на заслуженном отдыхе, долго жила на станции Шахунья Горьковской железной дороги. А где она сейчас, не знаю. Дочек вырастила, выдала замуж, стала бабушкой. Ветеран войны и труда Семен Трифонович Зверев, бывший в Крутовражье председателем колхоза, переехал в столицу Киргизии, в летнюю пору разъезжал по гостям к давно взрослым детям и внукам, которые разлетелись по всей нашей большой стране. В 1990 году он скончался. Витька Мишин, Виктор Иванович Журавлев, после войны жил в Алма-Ате, умер в начале 60-х годов. Сан Саныч — Александр Александрович Басманов погиб на войне. Егорка, Егор Алек-

сандрович Журавлев, обретается, говорят, где-то на Урале. Власьевна с дочерью Лидой, как только освободили Новгород от немцев, уехали на родину. Под именем Мити выступает сам автор этого очерка. Многие трудолюбивые женщины, дожив до старости, скончались. Среди них и моя мать фермянка Хиония Андриановна, которую из-за мудреного имени звали в деревне Зиной.

Доброго всем вам здоровья, дорогие земляки! Пусть вечной будет наша память о всех, кто погиб на войне и кто ковал победу над жестоким врагом в тылу в то суровое время!

1980-1990 годы.

Верность правде жизни

Перебираю в памяти названия рассказов, собранных в этом сборнике: “Возвращение”, “Птичка-невеличка”, “Пашенка в загумнах”, “Стожок для коровенки”... Собственно с героями этих и других произведений М.Т. Дербенева я как редактор “районки”, вместе с десятками тысяч читателей-яраничей, знаком давно. Все они в свое время были опубликованы в “Отечестве” и нашли своих почитателей.

У одних, рассматривавших их с литературной точки зрения, они вызвали разные отношения. И это понятно. У каждого здесь свои оценки. У большинства же рядовых читателей всегда было одно общее — люди благодарили автора за правду жизни, за возможность вернуться в годы своей нелегкой юности, переосмыслить прошлое и через его призму взглянуть на настоящее.

Герои М.Т. Дербенева жили в определенных исторических условиях, вместе со всем народом преодолели неимоверные трудности ради — они свято верили в это — счастливого будущего своих детей, внуков. Их жизнь — наше наследие. Как мы им распорядились — другой разговор и в другом месте.

Мы же воспримем это как должное. И если сегодня рядом с нами, в наших сердцах живут еще “дорогая сердцу” Саня — Александра Ильинична Журавлева, Сан-Саныч — Александр Александрович Басманов, Егорка — Егор Александрович Журавлев, Власьевна и десятки других известных и еще неизвестных Героев Победы, Тружеников Тыла, если, благодаря автору, мы узнали их в своих земляках, то это уже здорово. Значит, цель, поставленная автором, достигнута.

Пусть о литературных достоинствах этих невзыскательных журналистских произведений спорят специалисты. Мы же скажем автору: “Спасибо!” Спасибо за правду жизни, в которой, как в зеркале, отразилась его собственная нелегкая судьба. Спасибо и в добрый путь к читателям.

Владимир СЫРЧИН,
редактор газеты “Отечество”,
член Союза журналистов России.

г.Яранск. Апрель 2000 г.

Автор выражает сердечную благодарность
кикнурскому предпринимателю
Анатолию Николаевичу Филимонову
за спонсорскую помощь
в издании сборника рассказов.

Содержание

1. Возвращение. Рассказ	1 - 8 стр.
2. Двумужняя. Рассказ	8 - 17 стр.
3. Птичка-невеличка. Рассказ	17 - 28 стр.
4. Любавина осень. Рассказ	28 - 37 стр.
5. Пашенка в загумнах. Рассказ	38 - 44 стр.
6. Стожок для коровенки. Рассказ	45 - 48 стр.
7. За ситцами. Рассказ	48 - 50 стр.
8. Невольный грех. Рассказ	51 - 55 стр.
9. Развод для Саньки. Рассказ	55 - 62 стр.
10. Деревенские женичины. Очерк	62 - 74 стр.
11. Верность правде жизни	76 стр.

Codex Bezae Cantabrigiae

Manuscript of the New Testament

Containing the Gospels and Acts

Written in the 16th century

By a scribe of the 16th century

Now in the possession of the University of Cambridge

Manuscript No. 158

Written in the 16th century

By a scribe of the 16th century

Now in the possession of the University of Cambridge

Manuscript No. 158

Written in the 16th century

By a scribe of the 16th century

Now in the possession of the University of Cambridge

Manuscript No. 158

Written in the 16th century

